



Б. ШЕРБАКОВ

ЖИТЕЛЬ
ЛУННЫХ
ТУГАЕВ.

Б. ЩЕРБАКОВ

ЖИТЕЛЬ
ЛУННЫХ
ТУГАЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЛЫН»
АЛМА-АТА — 1976

Щербаков Б. В.

Щ61 Житель лунных тугаев. Алма-Ата,
«Жалын», 1976.

65 с.

Прочтите первую страничку книги «Житель лунных тугаев», и вы поймете, что попали в пленительное царство природы. Автор рассказов, молодой ученый-зоолог Борис Щербаков, отлично знает мир зверей, птиц, растений. И умеет рассказать о нем очень увлекательно. Каждая его строка зовет любить природу, преумножать ее богатства.

Щ $\frac{70803-188}{408(07)76}$ 76-215-76

© Издательство «Жалын», 1976

КУЛУДЖУНСКИЕ ЗВЕЗДЫ

День выдался жаркий — нечем дохнуть, ни малейшего ветерка. Листья на деревьях, что подле реки Кулуджун, обмякли, поникли. Казалось, даже сама она, размоленная и усталая, сонно поглядывала сквозь жесткие листья тростников.

Вечерело. Солнце склонилось к горизонту. Похожее на сказочно большого паука, вытканного из огнистых нитей, цепляясь лучами-лапами за голубое полотно неба, оно опускалось за потемневшие пески, куда следом стала стекать небесная синь.

Мы вышли к стану косарей, который находился на ароматном широком лугу. Они отдыхали, лежа на траве. Чуть поодаль от них краснела горсть углей — остатки костра.

Вскоре стемнело совсем. Над примолкшими песками, подступающими к пойме реки, зазвенели голоса насекомых. В их хоре были отчетливо слышны песни цикад. Наперебой стрекотали кузнечики, а совсем рядом, под небольшим кустиком джужгуна¹, монотонно насвистывал одинокий сверчок.

¹ Джужгун — степное растение.

Мужчины лежали молча и, казалось, внимательно слушали вечерний перезвон.

Сероглазый пятилетний Колька обхватил сильную руку отца и, уткнувшись в куртку, пахнущую августовским сеном и солнцем, замер. Потом подвинулся ближе к затухающему костру, обнял руками колени и огляделся. В темном небе над кромкой тростников уже светилась первая звезда. Днем рыжие песчаные сопки, толпившиеся около реки, потемнели, слились. Все заметно изменилось, стало неузнаваемым.

— Папк! По-моему, неправильно кузнечиков называют кузнечиками. Они же не постукивают ножками, а позванивают ими как косами. Их лучше бы назвать косариками. Как, например, вас косарями называют. Ты послушай, как они работают. Тоже, наверное, сено косят...

Отец молчал. Казалось, он сосредоточенно вслушивался в музыку ночи.

— Коля, а это кто поет? — спросил я, кивнув на соседний кустик.

— Сверчок почему-то мне напоминает маленького пастушка, который играет на свирели, — оживился Колька. — Сам играет и, наверное, сам слушает, чтобы не скучно было.

Простенькая песенка одинокого сверчка, казалось, серебристым лучиком тянулась к каждому кусту, к каждой звездочке, придавая особую прелесть теплой августовской ночи.

На разливе реки хрипло закричала утка, а потом было слышно, как всполошившаяся лысуха с криком и хлопанием удирала от кого-то по воде в заросли. Покачивая полукруглыми широкими крыльями, прямо над нами, бесшумно, как тень, пролетела большая выпь. В сухом тростниковом валежнике шумела ласка и пицали мыши.

Вдруг с соседнего бархана раздался сдавленный глу-

хой вой. Будто эхо подхватило его, повторяя многократно, извлекая жуткие звуки из самого сердца пустыни.

Да, это были волки. Было похоже, что они выражали неразделимую тоску, жалуясь на волчью жизнь. Ближний зверь сидел на соседнем бархане, и на фоне звездного неба вырисовывался его силуэт: морда задрана, уши прижаты... «Воо-у-у, вууу-а-а».

Нами овладел легкий страх. Даже барханы, как стадо перепуганных овец, казалось, сбежались в кучу, сгорбились. Мы незаметно перешли на шепот. А волки выводили жуткие рулады, от которых кровь стыла в жилах. Лишь на некоторое время замолкали они, чтобы вновь продолжить «исповедь».

Колька прижался к отцу.

— Пап, они на нас могут напасть?

— Да нет, сынок, не бойся...

Прошло еще несколько минут, вой так же внезапно, как и начался, стих. Исчез с бархана волчий силуэт.

Еще некоторое время никто из нас не нарушал наступившей тишины. Только по-прежнему монотонно звенели мириады насекомых.

Темное небо перечеркнула яркая дорожка падающей звезды. Кто-то по-прежнему возился в кустарнике, да не унимался сверчок.

— Ну что, Коля, пора спать?

Колька кивнул головой и молча пошел в балаган, стогом темнеющий поодаль.

Прихватив закопченный чайник, с шумом продираясь сквозь тростники, я вышел к воде. В неподвижной глади, как в зеркале, отражалась Вселенная. Прямо у ног в невидимых сетях золотой рыбкой билась лучистая звезда. Зачерпнув воды из Вселенной, вижу, как сказочная рыбка затрепетала где-то на самом дне чайника. А на воде шатается кулуджунское небо.

Утром, когда мы оставляли стан косарей, Колька еще спал и улыбался во сне. Наверное, ему в это время снились не серые волки, а зеленые кузнечики, работающие зелеными лапками, как косари косами на душистых лугах Кулуджуна.

ПЕНЬ

Это было давно, прежде чем из кедрового орешка вырос, состарился и рухнул кедр-великан. А на том месте, где он стоял, остался пень-колода. Упавший ствол давно истлел, а трухлявый пень и поныне стоит. Как и все старые пни, он оделся в зеленую шубу из мха. Много таких пней по тайге. Я прошел бы мимо, не заметив и этот, если бы... Если бы однажды в одну из его трухлявых щелей кедровка или бурундук не спрятали про запас каменный орешек. Из орешка, как и полагается, выросло пушистое деревце кедр. Пень преобразился, обрел как бы вторую жизнь. Старый и полуистлевший, теперь дает он жизнь новому, молодому и пока еще слабому растению. Не редкое это явление в лесу: стоят старые трухлявые пни, а на них стройные березки да раскидистые рябины. А один широченный пень был увенчан черничной шапкой, а на ней елочка, березка, рябина и кедрик. Не пень, а настоящая лесная клумба — маленькое чудо леса. Недаром у нас на Алтае говорят — наряди пень, и он красивым станет.

Люди давно заметили лесную подсказку и теперь используют ее в восстановлении ценных кедровых лесов. Только не ждут, когда бурундуки или кедровики посадят кедровые орешки в полусгнившие пни. А когда деревце-пасынок своими корнями к земле пробьется, тогда и пень ему ни к чему, как яичная скорлупа цыпленку. Так иногда восстанавливаются кедровые леса. К сожалению, другой раз от пня пользы значительно больше, чем от иного человека, который иногда бездумно уничтожает прекрасное.

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ТРОЛЛИУС

Чудесная пора на Рудном Алтае, когда цветут троллиусы или купальницы. Куда ни глянешь — и на подножных лугах гор, и в лесу на полянах — всюду троллиусы. Тьма-тьмущая их на болотах. Оранжевыми кольцами горят они у кромок снежников. Горят и светятся горы, усыпанные яркими цветами. Недаром у нас их огоньками еще называют. И вправду, словно полыхают они в сочной зелени майского луга.

Однажды мы с приятелем, ботаником, на красочной от цветущих троллиусов поляне заметили совсем белый цветок. Все необычное, непривычное привлекает внимание человека. Вот и этот цветок издали увидели. Мой спутник, соблюдая все правила предосторожности, выкопал белый троллиус, а потом посадил его на селекционном участке в Алтайском ботаническом саду.

Много раз впоследствии бывал я в лесу и каждый раз, любуясь цветущими огоньками, пытался найти среди тысяч белый, но не нашел. Редко, но встречаются кремевые, а белые — большая редкость.

ОСЕНЬ В ЛЕСУ

Когда осень приходит в лес, заметить трудно. Но известно, что приходит она задолго до того, как поблекнут деревья и закружатся на ветру разноцветными хороводами листья. Ели и кедры, как всегда, зелены, выглядят свежими и молодыми. А вот лиственницы тронул едва уловимый восковой налет. Пронизанные солнцем, они словно светятся изнутри, кажутся золотистыми. На берегах и осинах желтым пламенем вспыхнули, загорелись одиночные листья. Случается, за одну ночь желтеет ветвь, и тогда она становится похожей на желтую косу, вплетенную в зеленый наряд деревьев. Тогда и увидишь,

как с деревьев нет-нет да и полетят первые блеклые листья. С этой поры можно считать, что в лес пришла осень.

Всего несколько дней назад высокие алтайские травы — акониты, кипрей, живокость, борщевики и многие другие — стояли сплошной стеной, а после первых заморозков дружно полегли будто после косовицы. Травы поникли, и лес сразу стал выглядеть что-то утратившим — опустевшим и посветлевшим.

Далеко заметными стали кусты дягиля. На его высоких стволах вместо белых соцветий, как это было летом, похожих на раскрытые зонты, образовались большие ажурные шары. Каждый такой шар густо увешан округлыми полыми семянками, сравнимыми с медными монетками. Качнет ветер, и они тихо-тихо шелестят, кажется, даже позванивают, а это, напротив, только усиливает ощущение тишины, настораживает и невольно заставляет вслушиваться в загадочные звуки осени.

Но время от времени сторожкую тишину, поселившуюся в осеннем лесу, нарушают крики кочующих кедровок. Вездесущие птицы садятся на вершины деревьев, истерично кричат: «Кррии-и, крраа-а, кррии-и!» Далеко слышно. Откричат и долго сидят молча. Крутят головами, озираются и, похоже, ждут, что кто-нибудь да поблагодарит, скажет слово доброе за такое красивое пение. Но нет. Лес молчит, и никто не восторгается истошным криком. Кедровки чистят пестрое платье, качают роскошными хвостами... Как правило, сделают, непонятно зачем, несколько поклонов и — до свидания: нескладно работая широкими пестрыми крыльями, поднимаются над лесом и скрываются за деревьями.

Разные звуки и шорохи можно услышать в осеннем лесу. Но сильнее всего западает в душу грустный голосок одиноких пеночек-теньковок.

— Фи-ить! — кричит пеночка, и в воздухе мелькает хвостатый лист. — Фи-ить! — повторяет она, и тоненьким

лучиком вспыхивает зацепившаяся за ветку паутина, на которой в полет отправился паучок-странник. И снова тревожно звучит голосок пеночки.

В эту пору вокруг замшелых пней поодиночке и стайками, в разброс и хороводами стоят сыроежки и опята, лисички и волнушки, грузди и маслята. К их липким рубашкам пристали листья и хвоинки. Это делает грибы малозаметными. На мшистой почве встречаются и такие, у которых с шапок зелеными прядями свисает мох. Некоторые с яркой окраской — сыроежки и лисички — далеко заметны, не удержишься, свернешь с тропы, а там другой подвернется, третий — и уведут совсем в другую сторону. Искусно прячутся опята и грузди. Они словно разбежавшиеся и затаившиеся ст подружейной собаки перепелята. Попробуй отыскать в лесу такой выводок. Нелегкое, но интересное это дело.

Многое еще можно встретить в осеннем алтайском лесу. А лес день ото дня, с каждым утром изменяется, становится не похожим на вчерашний, как отличаются одна от другой сказки Шахрезады.

КРАСНОЕ, ЖЕЛТОЕ...

Стзвенело, закатилось лето. Солнце завернуло на осенние тропы и заскользило скупыми лучами по золотистым полям. Над прозрачными горными озерами закружились пушистые предрассветные туманы, забелив колючим инеем землю.

Наступила алтайская осень. То бродит она по горным склонам, то, притаившись в траве, поджигает разноцветными огнями красок кроны деревьев. В полдень в бездонном хрустальном небе серебрятся спутанные нити паутины. Все замерло, насторожилось. Ни голоса, ни шороха. А если вслушиваться сгнешь, кроме ударов собственного сердца, ничего не услышишь.

ПОДРУГИ

На лесном кордоне под самым окном домика лесника стояли береза и ель. Деревья обвились стволами, обнялись ветвями, и получилась большая и красивая крона. Зимой и летом она была одинаково красивой — грустная и нежная, темная и светлая. Только вот деревья, как и лесник дед Игнат со своей подругой жизни Пелагеей Прокофьевной, стали старыми и немощными. Кора на стволах растрескалась, стала шершавой. В кронах торчали обломанные сучья. Разгуляется ветер, и деревья, как две плакальщицы, стонут и скрипят на разные голоса.

Каждую осень, как только начинается ненастье, Пелагея Прокофьевна просит деда Игната, чтобы он срубил деревья.

— Одно уныние, тоска от них на душе. Раньше не замечала, а теперь не могу.

Жаль было старому леснику валить дерево: всю жизнь он берег лес. Да что поделать, и в самом деле прибавляется грусти, когда под окном воет ветер и стонут деревья.

Застучал топор, задрожали кроны. В последний раз протяжно заскрипела береза, затрещал ее болезненный ствол, и она медленно повалилась наземь.

Непривычно одинокой, с опущенными, словно от горя, ветвями, стояла теперь ель.

В эту же ночь над тайгой разбушевалась буря. Привычно шумел и гудел лес. Ветер раскачивал потерявшую опору ель, ломал ее хрупкие ветви, но дерево молчало. Это было непривычно для стариков, чего-то не хватало. И непонятно почему, но грусти прибавилось. Старые не спали, вздыхая, думали о чем-то одном. Но вот глубокой ночью под окном словно кто-то вздохнул и загудела земля...

Утром лесник увидел упавшую ель, лежавшую подле срубленной березы. Не выдержало натиска бури дерево, потерявшее опору и подругу жизни.

Но налетит ошалелый ветерок, и шорох падающих листьев переходит в однотонное шипение. Затрепещут, запылосуют на ветру багряные осины, вспыхнут холодным пламенем, застучат жесткие листья о жесткие ветви. Умчится ветер — и опять безмолвие. Можно сидеть и по шороху считать опадающее золото осеннего леса. Считай — не просчитаешься.

Во весь голос кричу: «Ого-го-о!» Звук преломляется, ударяясь о невидимые стены, и эхом отдается непонятно где. Но что это? Совсем рядом, негромко, но часто-часто стучит: тук-тук-тук. Ну, конечно, это он, дятел! Как можно тише крадусь на стук. Всматриваюсь в просветлевшие кроны осин и замечаю у самой вершины одной из них среди неподвижных листьев яркий огонек — красное, желтое, красное, желтое... Бабочка? Нет. Оказывается, это отдельные листочки осины ни с того, ни с сего начинают трепетать, постукивая о веточки.

Вот один из них сорвался и, мелькая красным и желтым боками, мягко шлепнулся в студеную гладь воды. Теперь он похож на крошечное солнце.

Вдруг где-то далеко вверху раздается: «Кияу-кияу». На ровном зеркале воды замечаю тень хищной птицы. Это канюк. Распластав широкие крылья, он плывет куда-то далеко-далеко. Проходят минуты, и в голубой тишине снова слышатся загадочные перестуки листьев, и снова я вижу красное, желтое, красное, желтое...

БУКЕТ

Светлые теплые дни отступившего лета словно оказались отгороженными от нас заснеженными вершинами гор. Рыжеволосые, сгорбившиеся копны и стожки разбрелись по скошенным лугам. Глубокая осень — романтическая пора и необыкновенно грустная страница большой книги — Природы.

Иду по косогору — желтым-желто. Зеленая травинка в эту пору — большая редкость. Смотришь на нее как на какое-то чудо. Однако в полегшей траве замечаю похожий на упавшую звезду цветок голотелы. Васильковым глазом смотрит он в остывшее небо. Другой раз бы мимо прошел, не заметил, а теперь он воспринимается совсем иначе, наивный взгляд его действует чарующе. Не рву для дома букетов, жаль цветов, а тут не устоял, все равно замерзнет. Чуть дальше наткнулся на другой, этот походит на большую ромашку — невяник. У всех окружающих его собратьев лепестки уже опали, усыпав подле себя землю. А этот каким-то чудом уцелел и теперь стоит, далеко заметный. На нем бабочка, крылья ее обтрепаны. Оцепеневшими от холода ножками крепко держится она за желтый ворс тычинок, словно решила умереть среди лепестков.

На краю серой рощицы желтым факелом горит соцветие золотой розги. Редкое явление — цветы перед снегом!

У меня уже целый букет — три огрубевших холодных стебелька. Последний осенний букет: три цветка — голубой, желтый и белый — живая память об ушедшем лете. Голубой — как летнее безоблачное небо; как животворные лучи солнца — желтые, а белые лепестки невяника, легкие и нежные, как крылья бабочки.

Дома этот маленький букет я поставил в стакан с водой. Цветы повеселели и дружно повернули свои головки к светлomu окну, за которым низким кругом проходит уставшее солнце.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Всю ночь бушевала вьюга. Глухо шумела и стонала тайга. Перестоявший кедр, нависший над таежной избушкой, натужно скрипел. К утру метель переметнулась к горным вершинам, где еще долго вулканами взрывались

сталкивающиеся снежные вихри. Последние утренние звезды погасли. Укрыв под подолами отступающий мрак, черные пихтачи погрузились в глубокую тишину. Наступил холодный рассвет. Вскоре небо очистилось, но слюдяная изморозь не переставая сыпалась с неба, одевала искрящейся мишурой утренний лес.

Что может быть лучше лыжной прогулки в просыпающемся лесу! То сухо скрипит, то почти шипит снег. Лыжня то и дело пересекает замысловатые вязи звериных следов. Где-то в гуще пихтачей копошатся и тонко переговариваются проснувшиеся птицы.

У опушки, забитой снегом, утонув по плечи, выглядывают причудливые пни. Темные и трухлявые, они сейчас нахлобучили пышные снежные шапки. У одних они по-детски надвинуты на глаза до самого носа, у других лихо заломлены набекрень. Солнце почти у вершины полукруга зимнего пути.

На соседнем пне, ни дать ни взять, — птица. Кургузая и головастая — на сову похожая. Снежный сычик. У него из снега лапки, из снега крылья, и весь он из снега. Даже веки покрыты пушистыми снежинками. Спит снежный сычик и, наверное, видит холодные зимние сны. Тут же, в гуще ветвей, глухарь. Это тоже снежная птица. Крылья ее распластаны, голова запрокинута, будто ранена. Вглядываюсь в снежные комья, свисающие с ветвей, застрявшие среди сучьев, и вдруг замечаю соболя. Зверь словно приготовился к прыжку — лапы поджаты к морде, сам плотно прильнул к ветке. Выдает призрачность зверька только отвисший хвост: того и гляди отпадет. Соболю тоже белый, тоже слепленный из снега. А рядом с ним — снежная черепашка и снежный человечек.

Много еще зверюшек и птиц, знакомых и диковинных, загадочных разглядел я в заснеженном лесу. Все они белые, пушистые, все недотроги. Кто их усадил, развесил, кто такими хрупкими смастерил из снежинок? Слово по лесу прошла этой ночью лесная волшебница и подарила

ему снежную сказку. Не дрогнет ветка, чтобы не испортить снежной сказки — фантазии лесной волшебницы, чудесной ваятельницы.

Все в нашем мире рождается, живет и умирает. Вот и на этот раз вьюга неожиданно спустилась с гор. Взорвался и разлетелся в пыль снежный ком, упав с вершины самой высокой пихты. Еще и еще взрывались и рассыпались серебристым облаком снежные куклы, сидящие на деревьях. Вдруг у глухаря отпало и рассыпалось в воздухе крыло, и птицы сразу же не стало. Уронил свой хвост соболю, и зверь исчез. В снежную пыль обратился человек, куда-то унесло черепашку. В клочья разлетелся забавный сычик. Ветер развеял снежную фантазию, и сказки сразу не стало.

Снова шумит и тяжело вздыхает под напором ветра тайга. Над вершинами пихтачей метель машет седыми крыльями. С голодным завыванием лижет трухлявые пни, замечает звериные следы, забивает глаза. Опять всю ночь будет натужно скрипеть у таежной избушки кэдэр.



СВИРИСТЕЛИ

Зима. Суровая, но необыкновенно красивая она на Рудном Алтае. В морозной тишине отчетливо слышен каждый шаг. Холодными искрами вспыхивают мохнатые ветви, увешанные колючими снежными кружевами. Красиво, но холодно и неудобно под небом. Все живое попряталось, притихло.

Стою на берегу, люблюсь красотой, а кругом тишь, ни души. Вдруг слышу прерывистое верещание, словно многоголосый ручеек снежную толщу пробил. Это на серебряные ветви тополей опустилась большая стая свиристелей. Они тихо переговаривались между собой, словно совещались о чем-то серьезном и тайном, не желая нарушать морозной тишины. Птицы прилетели на водопой.

Свиристели — северяне, но видно, что снегу предпочитают воду. Распушились от мороза и похожи на шелковистые шары розоватого цвета. Некоторое время они перелетали с веток на ветки, сшибая с них мягкий студеный убор. От реки полз холодный туман и время от времени скрывал сидящую стаю.

Птицы, как видно, не обращали внимания на столь суровую обстановку и не прекращали «разговора». А некоторые даже поднимали кисточки хохлов и пытались ухаживать за подругами. В легком танце с приседаниями они прыгали друг против друга. После недолгих минут проявления взаимной симпатии свиристели спланировали к дымящейся реке и стали жадно пить ледяную воду.

Утолив жажду, они снова расселись на деревьях, на их самых верхних ветвях, и все повернулись к бледному солнцу. Свиристели походили на важных бояр, одетых в большущие тулупы и разомлевших после обильного чаепития.

Из клубящихся паров Иртыша появляется еще стая. За ней другая, третья, и уже на деревьях сидят сотни свиристелей. Заводят оживленный разговор. Под их тяжестью гнутся мохнатые ветви, сыплется кухта и седыми струйками повисает в воздухе.

Похоже, каждая птица старается держаться как можно важнее, будто все только на нее и смотрят. Каждая поднимает хохол, кланяется, в одно мгновение прижимает его к головке и фальцетом высвистывает мелодичную скороговорку. Точно все свиристели настраивают свои голоса, как музыкальные инструменты. На несколько секунд

гомон стихает. Затем вновь морозный воздух наполняется верещанием. Стая за стаяй взмывает и исчезает в холодном тумане.

Трудно зимой прокормиться свиристелям, аппетит у них отменный. Сядет большая стая на отяжелевший от ягод куст калины или рябину и начинает заглатывать холодные, как леденцы, ягоды. А через несколько минут остаются только голые ветви. Этим самым свиристели и полезны — в их желудках переваривается только мякоть ягоды. Косточки выбрасываются наружу и, конечно, в самых различных местах, ведь где только они ни бывают во время зимних странствий! А где утеряна косточка, там на следующую весну разовьется побег нового растения. Вот и получается, что свиристели являются сеятелями кустарников, ягоды которых так нужны им зимой. Сами сеют, сами убирают урожай.

В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Я остановился у столпившихся елей посреди сверкающей от света и снега поляны. Под подолами их роскошных кафтанов прятался голубой мрак. Прошлой ночью шел снег, и теперь на ветвях висели и сидели странные звездушки, и тишина — в ушах звенит!

Красиво, но мертво. «Как в царстве снежной королевы», — подумал я. Но что это? У снежного кома, что рядом, вдруг появились живые темные глаза. Гляжу и не верю: снежный ком и вдруг — живые глаза! А они внимательно смотрят на меня. Вот один мигнул, потом другой, затем оба сразу, и вслед за этим повернулась большая круглая голова, — ни дать, ни взять, настоящая снежная кукла.

Я узнал крупную ночную хищницу — длиннохвостую неясыть. Если у большинства сов глаза злые — желтые, зеленоватые и оранжевые, то у нее — темные, добрые.

Некоторое время пристально смотрим друг на друга. Голова совушки — будто по-старушечьи закутана в пуховую сибирскую шаль. Снежной она казалась не только из-за своего светлого оперения, но еще и потому, что была покрыта инеем.

Вдруг ее внимание привлек конец лыжной палки, которой я нечаянно пошевелил. Сова широко открыла глаза, уставилась — не моргнет.

133536
Стал я тогда двигать палкой: ее конец то спрячется, то вынырнет из-под снега, точно мышь. Совушке понравилась эта шутка, и, обо мне забыв, стала она глазами гоняться за «мышкой». Играем, как давно знакомые. Признаться, ей скорее надоела эта нехитрая игра. Снова смотрим друг на друга, будто в гляделки играем.

Тут уж я не выдержал и говорю: «Ну что ты так смотришь?» Моя молчаливая собеседница резко повернула голову, очевидно, собираясь нырнуть в лесную чащу. Но, видимо, передумала, и снова на меня смотрят блестящие глаза. Однако стоило мне сделать шаг в ее сторону, как легкой тенью метнулась она среди стволов и тут же села. С ветвей поплыл снег, и на голове птицы выросла снежная шапочка. Теперь совушка походила на кокетливую модницу.

Вижу, стала она поудобнее устраиваться. Прижалась к стволу боком, решила досмотреть свой птичий сон.

«Спокойной ночи, лесная красавица!» — сказал я ей, уходя.



„Я ЗДЕСЬ, А ВЫ?“

Над алтайской тайгой гуляла снежная буря. Мохнатые кедры, словно боясь упасть, отчаянно махали ветвями, как руками. Осыпаемый снегом, лес шумел, и время от времени сухими выстрелами щелкали отломившиеся сучья. Старые ели тоскливо и скрипуче переговаривались. Сплошной однотонный шум, и ни одного голоса, ни одного следа, словно в тайге все вымерло.

Вдруг прямо над головой я услышал тонкий, почти мышиный писк: «Цить-цить». На елке копошилась обычная птичка хвойных лесов — гаичка. Она суетилась, то и дело перепархивая с ветки на ветку, и, как намагниченная, с разлету прилипала к ним снизу. Еще раз пискнув, она исчезла в густой кроне кедра. Однако тут же с другой стороны послышался гочно такой же писк. Я повернулся в надежде увидеть еще одну гаичку. Однако по стволу дерева вниз головой быстро спускался поползень. Не успел я убедиться, поползень ли так пищит, снова слышу знакомый голосок. Теперь на ветке недалеко от меня сидела крошечная синица-московка. Маленькая, вертлявая, она топорщила перышки на голове и то одним, то другим глазком посматривала в мою сторону.

Ничего не понять! Птицы разные, а голос один и тот же.

А за спиной снова знакомый писк. Кто же еще пожаловал?

Обладателем знакомого голоска оказался королек. Называется корольком, а сам в полете словно бабочка махаон. На голове этой птицы успеваю различить ярко-желтую полосу.

Оказывается, здесь кормилась смешанная стайка зирующих насекомоядных птиц. Перепархивая с ветки на ветку, с дерева на дерево, они не спеша продвигались по лесу. И каково же было мое удивление, когда с таким же писком в стайке появилась еще одна лесная проныра-пи-

щуха. Тонким, слегка изогнутым клювом, похожим на шильце, она прощупывала щелки в шершавой коре дерева, словно не доверяя своим маленьким глазкам.

Все эти птички зимой в поисках корма обычно образуют смешанные стайки, кочующие по лесу. Компанией веселее. Да и безопаснее. Стоит одной заметить неладное, как сейчас же она поднимет переполох, а остальные уже готовы спрятаться. Чтобы во время странствий по зимнему лесу не потеряться, они и переговариваются: «Цить-циг», что, пожалуй, означает: «Я здесь, а где вы?»

Один и тот же позывной крик у этих пичуг — не случайное явление. Не исключено, что он был выработан за века их совместного пребывания зимой. Вот и получается, что издревле эти пичужки вместе коротают трудное время.

Иногда в смешанных стайках кочуют дятлы. Им с пернатой мелочью выгодно дружбу вести. И мелюзге пожива: раздолбит дятел трухлявый пенёк, сдерет с лесины потставшую кору, а там — спрятавшиеся насекомые и их куколки. Добычу покрупнее дятел сам выберет, а всякую шестиную мелочь другим оставит. А они тут как тут — остатки с дятлова стола подбирать. Если же случится, что где-то пернатый и четвероногий хищники затаятся, вездесущие синицы да поползни наверняка заметят. Знать дадут.

Поэтому и дятлу хорошо быть вместе с ними.



С крутого склона горы сполз верхний слой земли, обнажив кусок глинистой почвы. Здесь пробился родничок, да такой маленький, будто из пипетки выступает капелька за капелькой. А ведь это он увлажнил почву, из-за него и оползень получился. Вскоре на обнаженной глине заблестела лужица. Рядом речка шумит, воды сколько хочешь. А вот бабочки облюбовали лужицу. Одна к другой вплотную садятся. Так много, что бережков не видно, будто они разноцветными лепестками обросли.

Присаживаюсь на корточки, наблюдаю, как бабочки воду пьют. Они расправляют хоботок — спиральку и с его помощью жадно сосут влагу, помогая при этом взмахами крыльев. Похоже, что каждому взмаху соответствует глоток. Взмах — и глоток, взмах — и еще глоток. Пьют подолгу, много, точно из безводной пустыни слетелись.

Утоляющие жажду бабочки на время теряют бдительность, и мне удастся потрогать их крылья. Вот белые с темными крапинками — это боярышницы. Рядом — желтые крылья лимонницы. А эти поменьше — голубого цвета, похожие на незабудки, крылья голубянки. Разве всех перечислишь: темные крылышки с белыми пятнами, красные с черными, с черточками, точками и кольцами. Залюбуешься! Даже глазок лужицы, поглубевший от чистого неба, не моргнет, будто боится посмотреть это чудесное зрелище — разноцветное махровое кольцо бережков.

Осторожно вытягиваю руку, на бабочек падает тень. Над лужицей шелестят крылья и на мгновение рождается цветная метелица, даже в глазах рябит. Подхваченные легким ветром бабочки разлетаются. Осиротела оголенная лужица. А немного погодя сюда вновь начинают слетаться жаждущие. Напившись цветочного нектара, они непременно сворачивают к крошечной лужице и вновь бережки ее обрастают лепестками разноцветных крыльев.

ШМЕЛЬ

Весенним днем я бродил вокруг горного озера, раскинувшегося в сосновом бору. Лед на водоеме растаял, и над его гладью, оглушая воздух сиплым карканьем, кружились чайки и крачки. На горных склонах перестукивались дятлы и перекликались синицы. В смолистом воздухе, настоявшемся на хвое, беспрестанно гудели насекомые. Суетилась, торопилась жизнь.

У кромки берега на воде я заметил какое-то маленькое существо. Подошел ближе и узнал шмеля. Мокрый и бесильный, он пытался взлететь. От крыльев по воде разбегались тонкие кольца ряби. Целым роем под ним вились рыбешки, но схватить, по-видимому, побаивались. Зачерпнув пригоршню воды, я выплеснул на берег шмеля. Черный и желтый густой шерстистый покров делал его похожим на крохотного косматого щенка. Он тяжело дышал и дрожал от холода. А когда обсох, принялся приводить себя в порядок. По-кошачьи, передними ножками он тер глазастую голову, задними протирал и расправлял крылья. При виде протянутой к нему руки он поднимал передние ножки, словно просил о пощаде. А через несколько минут в ответ на этот жест принял угрожающую позу. Казалось, что это крошечное существо, похожее на собачонку, вот-вот зарычит, залыет звонким лаем. Пришлось оставить его в покое.

Я продолжал наблюдать, как шмель приводит себя в порядок. Он спокойно, деловито расчесывал лохматые бока, разглаживал узловатые усы и усиленно протирал крылья. Но вот засуетился и... раз-два — загудели, засверкали как стекла крылья. Некоторое время он работал ими сидя на земле, затем оторвался и стрелой взмыл в надозерную синь, торопясь по своим шмелиным делам.

КТО РАЗБУДИЛ ТИШИНУ

Рассветало. Но в лесу, окутанном густым туманом, было по-прежнему мрачно и сыро. Ни единого звука. Натянутая над тропкой сеть паука от сырости разбухла и, отяжелев, обвисла. Вдруг где-то недалеко послышалось тихое «зи-зи-зи». Было похоже, что кто-то осторожно пытается распилить тишину.

Среди разлапистых ветвей кедров суетились две прогнувшиеся синички-гаички. Они трясли повлажневшими крылышками и тихо переговаривались: «Зи-зи-зи». К их вкрадчивым голосам прибавлялся еще один — побойчее, похожий на постукивание о наковальню серебряного молоточка: «Динь-динь-динь». Это запела пеночка-теньковка. А вскоре и солнце проснулось, поднялось над лесом. Туман потянулся кверху и, слегка порозовев, стал редеть. В березовой роще неожиданно закуковала кукушка. Ее кузина — глухая кукушка, жительница темнохвойного леса, словно недовольная всем этим шумом, глухо, по-старушечьи забубнила: «Уб-уб-уб». А на лесистом склоне уже вовсю стучат дятлы, суматошатся дрозды и поют яблочки. Даже такой «певец» как коростель-дергач, которому, как говорят, медведь на ухо наступил, тоже не выдержал: кричит, надрывается на сыром лугу: «Тррак-тррак».

В лес пришло утро. Все ожило. Росистый луг играет огоньками росинок, сыплет искры серебристая паутина. Шумит, звенит лес. Это гаички разбудили тишину.

ОЛЯПКИН ДОМ

В тесном лесистом ущелье оглушительно шумела небольшая горная речушка. Над ее пенистыми волнами то и дело вспыхивали маленькие радуги. Наверное, очень давно в этом месте через речку перекинулась старая, истлевшая на корню ель. Прошло много времени, прежде чем у ее

ствола отвалились ветви, и теперь поперек речки лежит замшелое полузатопленное бревно, с которого свисает прозрачный как стекло небольшой водопад. Вода чистая, льдистая — речка алтайская, из-под белков течет. Белками у нас называют снежники, что не тают в горах круглый год. Время от времени на каменистом ложе речушки гулкими перестуками начинают переговариваться камни. Говорить станешь — собственного голоса не услышишь.

Но что это? Среди шума воды вдруг звонко и мелодично зазвучал голосок птички. На полузатопленной коряге посреди бешеного потока я увидел кургузую пичугу. Оляпка. Она походила на двухцветную резиновую игрушку, сшитую из двух половин: верхняя — черная, а нижняя — светлая. Толстенькая и кругленькая, как шарик, а из шарика — торчком хвост-коротышка. Забавная. Снова звучит голосок, и певунья, обдаваемая разлетающимися брызгами, задевая брюшком ершистые волны, стремительно летит к водопаду. Ткнулась в его струи и исчезла. Прошло несколько минут, а бесстрашной птицы не видно.

Неужели сшибло ее этим бешеным потоком и унесло? Вот незадача!

Жаль стало оляпку. Но как только я ступил на затопленное бревно, из-под него, как мыши, выскочили две оляпки, с трескучими криками помчались над самой водой и скрылись за елями.

За водопадом в полусгнившем бревне, среди мрака и сырости, оказалось их гнездо. Необычный дом у оляпки — вместо крыши над головой водяной поток бурлит, где стены — тоже вода, а вместо веранды гнутая струя водопада. У кого еще такой дом сыщешь? Хищникам к нему не добраться. Да и кто узнает, что там гнездо! Не раз я проводывал оляпкин дом, и всегда, прежде чем приблизиться к гнездышку, приходилось принимать ледяной душ. Не каждый раз наберешься смелости ее дом навестить и в гостях не засидишься.

ДРОЗД И МЕЛАНИСТ

В уголке природы юннатской станции жил дрозд-рябинник. Он привык к неволе и отлично знал свою кличку Тишка.

— Тишка, Тишка! — И Тишка на плече или на голове юнната. Ждет, чем угостят. Каждый раз, когда ребята уходили, то Тишку закрывали в вольере.

Но однажды случилось так, что ребята забыли закрыть дрозда. Тишка воспользовался этим; он забрался в террариум, где жили различные ящерицы: разноцветные ящурки, песчаные вертихвостки, такырные круглоголовки, живородящие. Самой интересной была прыткая ящерица с совершенно черной окраской — меланист.

Меланисты, как и альбиносы, явление редкое среди рептилий. Поэтому ребята гордились этой ящерицей и особенно берегли ее.

Оказавшись в террариуме, дрозд накинулся на его обитателей, неплохо закусил мелкими ящерицами, а те, что были покрупнее, оказались заклеванными. Но на удивление и радость ребят, Тишка оставил невредимым меланиста. Получилось, что Тишка расправился с теми, которые имели нормальную расцветку. Необычная же черная окраска меланиста, видимо, поставила его в затруднительное положение, и он предпочел на всякий случай не трогать ящерицу. Наряд оказался полезным для меланиста.

ЛЮБОПЫТНЫЙ

Забавные эти суслики! Увидят кого-нибудь и ну кричать. Это они других предупреждают, чтобы осторожнее были. В то же время хотят на себя обратить внимание. Подскочит зверек как на пружине, станет столбиком и знай себе чикает. Иногда незадачливые крикунишки на-

влекают на себя опасность: голодная лиса или собака, следующая за повозкой, пробежали бы мимо, своей дорогой, да нет. Суслик обязательно привлечет внимание. Подпустит вплотную и затем панически бросается в нору. Иной раз его нора совсем неглубока. Вот тогда и приходится ему расплачиваться собственной шкурой. Ну что ж, сам на себя беду накликать.

Мне неоднократно приходилось подходить к кричащему суслику на какой-нибудь небольшой скале. Приблизись, а он шмыг в трещину. Чувствует, что попался, и скулит от страха. Сам трясется, словно знобит его. Кажется, что на выпученных темных глазах зверька слезы наворачиваются. А если руку протянешь, то у него от страха сердечко готово выскочить и он начинает жалобно попискивать, лапки поднимает, словно о пощаде просит. Если жалобой не возьмет, то прыгает навстречу и в порядке самообороны пускает в ход зубы. А там — дай бог ноги, улепетывает до первой попавшейся норы.

Суслики бывают разные. Я расскажу о длиннохвостом, что живет по каменистым склонам западных предгорий Рудного Алтая.

Однажды встретил до смешного любопытного зверька. Иду по кособоку и вдруг слышу — чикает. Поворачиваюсь на крик и вижу на выступе небольшой скалы рыжий столбик. Начинаю медленно подходить. Нас уже разделяет почти десять метров, и крикунишка бросается в нору, под скалу. Не бегу, а стою на том же самом месте. Суслишка, видимо, подождал, а погони-то не слышно. Тогда он выбрался из норы, осмотрелся и сел на прежнее место. Кричит. Вновь медленно и без шума приближаюсь, и снова с паническим криком он бросается в нору. Так несколько раз: он убегает, возвращается, а я подхожу все ближе. Суслик, поддразнивая меня, чикает и в такт чиканью дергает пушистым хвостом. Похоже на то, что он привык, чтобы его преследовали и без острых ощущений не желает отсиживаться в душной норе.

Расстояние между нами чуть больше вытянутой руки. Я присел. Сидим, рассматриваем друг друга. Раза два не выдерживал зверек, сломя голову бросался под скалу. Но, видимо, мое поведение озадачивало его. Известно же, что нередко любопытство берет верх над страхом. И снова суслишка маячит на вершине скалы. Только теперь он не кричит, а удивленно таращит глуповатые глаза.

Шутка ли — рядом человек! Суслик в большом напряжении, что называется, — начеку. Вот встал на задние лапки, вытянулся почти по стойке «смирно», уставился — не моргнет. Поворачиваюсь к нему, и суслика словно ветром сдуло. Через минуту он сидит на прежнем месте и я люблюсь его лупастой мордашкой. Очевидно, суслик чуточку привык: позволяет мне шевелиться, не удирает. Пытаюсь вполголоса разговаривать. Он вроде бы внимательно слушает: сидит как вкопанный. В нем борются страх и любопытство, но последнее побеждает. Но что это? Внезапно зверек вскакивает и, скрестив на трепещущем животе рыжие с темными коготками лапки, смотрит куда-то вдаль. От усиленного сердцебиения у него заметно пульсирует грудка.

Жизненная необходимость обозреть местность сейчас проявилась и у моего суслишки. Он смотрит куда-то дальше, за меня. А мне вроде бы доверяет.

К его выкаченным глазам пристают мухи, и, не теряя равновесия, он молниеносно смахивает их лапками, почесывает бока и чмокает языком.

Пока мы с ним сидели, он бдительности не терял ни на миг. Вдруг вытянулся во весь рост, стоит на цыпочках, передние лапы держит на уровне плеч для равновесия, иначе нельзя — свалиться можно. Затем прижимает их к животу и энергично поддегивает их. Движения эти, конечно, выражают нервозность зверька. Такова уж сусличья жизнь, требует она постоянной настороженности, внимания к окружающей обстановке, а то не миновать когтей или зубов хищников.

— Ну, до свидания,— говорю.

И, как старому знакомому, протягиваю руку. Суслика на всякий случай исчезает под скалой. А когда я отошел, то рыжий столбик вновь уже стоял на скале и смахивал с больших глаз надоедливых мух.

КЛАРКА

Дома у меня появился еще один питомец — птенец серой вороны. Короткие крылья и хвост его были изрядно обтрепаны, это говорило о том, что он побывал в руках у ребятшек. Большеголовый, с обтрепанными крыльями, он выглядел не совсем привлекательно. И все-таки темные и блестящие как ягоды смородины глаза не лишали его прелести. «Как же назвать?» — думал я.

Вороненок словно понял это, тут же открыл клюв и, обнажив малиновую полость «рта», громко «подсказал»: «Карра, карра!» Все верно. Мне пришлось лишь вставить пропущенную им букву «л», и получилась вполне подходящая кличка — Клара.

Ну что же, Клара, так Клара. Еще ни одну из птиц я так не называл. О том, что у меня появился еще один питомец, уже на завтра знали соседи. Кларка через каждые двадцать-тридцать минут, проголодавшись, с паразитическим постоянством кричала во все свое воронье горло: «Карра, ка-а-рра-а!»

Кричать она могла громко и надсадно, поэтому поневоле создавалось впечатление, что горло у нее, как говорят, луженое, или в него вставлена металлическая труба. Обычные голосовые связки, казалось, не могут выдержать такой невероятной нагрузки. К тому же, если в наше отсутствие она ничего не получала есть, то кричала часами и могла вывести из себя не только человека. Однажды мне сообщили соседи, что Кларка вынудила

отдыхающую в тени корову встать и со злостью боднуть забор, на котором сидела ворона.

Кларка ела почти то же, что и мы, но всему предпочитала рыбу. Однажды во время завтрака она проглотила семнадцать пескарей, длиной до пяти сантиметров каждый. Глотала до тех пор, пока в желудке уже не осталось свободного места, и хвост рыбешки предательски торчал из расщепя клюва. Таким вот образом перекусив, Кларка отходила в сторону и, широко расставив лапы, дремала. «Не птенец, а желудок, покрытый пером!» — думал я, глядя на нее.

Обычно, вздремнув, она принималась играть. Игра сводилась к тому, что своим крепким клювом она начинала заворачивать половики в сених. Затем обязательно взбиралась на стол и что могла унести — тащила. Все это она прятала подальше от наших глаз. Потом всякую мелкую посуду мы, как правило, находили под теми же половиками и досками крыльца. Во время развлечений можно было видеть, как Кларка деловито косолапила с ношей в клюве через комнату в сени и на улицу. На первых порах ее забавы доставляли некоторое удовольствие нам. Ей была предоставлена возможность чувствовать себя дома хозяйкой. Однако совсем скоро эти забавы переросли



в сплошные неприятности. В доме осталось мало ложек и вилок. Совсем исчезли мелкие крышечки. А спичечные коробки были ее особенной слабостью. Добравшись до коробка, она оставляла от него мелкие щепки. Эту разрушительную работу Кларка делала молча и старательно. Когда за эти штуки вороне ста-

до перепадать, она не отказалась от них, но изменила тактику и забавлялась где-нибудь в сторонке.

Неприятностей прибавилось, когда Кларка научилась летать. Она уносила мелкие вещи далеко из дома, что называется, из-под носа.

Проголодавшись, Кларка летела домой и принималась кричать. Подбегала к моей бабушке, дергала ее за фартук.

Набрав полный клюв кусков, она несла их к бочке с водой, что стояла посреди ограды, бросала туда хлеб и зорко следила, чтобы кто-нибудь не стащил его. Завидев приближающихся курицу или собаку, ловко выуживала мокрые куски, и, подбрасывая их, с лету глотала. Оставшимися же она до отказа набивала клюв, и не без сожаления оставляла то, что не могла захватить. Излишки Кларка припасала на черный день. Кладовыми ей служили крыльцо, поленицы дров или густые заросли травы. Припрятав провиант, ворона спешила на забор и немедленно принималась каркать, будто желала сообщить, что она жива и здорова, чтобы за нее не волновались.

Если усаживалась на забор для своих концертов, то даже мне, ее терпеливому хозяину, приходилось вооружаться веником. Кларка отлично знала, для чего я брал его, и улетала с глаз долой. Такая уж птица ворона, не пользуется она уважением не только со стороны человека. Не терпели ее возле себя даже куры. Стоило вороне появиться около них, как они набрасывались на Кларку с воинственным криком. Отступающая Кларка всегда успевала щипнуть одну-другую норовистую курицу и убиралась восвояси — на забор.

Басмача — нашу собаку — она хорошо знала. Прекрасно понимала и то, что этот мохнатый и очень смысленный пес не имеет права обижать ее. И, надо сказать, умело пользовалась и злоупотребляла этим: могла бесцеремонно вскочить на спину собаки, дергать ее за хвост и щипать за уши. Басмач не скрывал неприязни

к птице, но все, что он мог сделать, — так это держаться от нее подальше.

Кларка не упускала любой возможности, чтобы стащить лакомый кусок даже из-под собачьей морды. Если Басмач ел, то она обязательно крутилась около него. Стащить во что бы то ни стало — это было главной ее задачей.

Однажды вороне пришлось пережить несколько неприятных секунд: Басмач лежал на траве и грыз кость. Ворона и на этот раз решила испытать удачу. Косо поглядывая на огрызок кости, готовая взлететь каждый миг, она кругами и боком стала приближаться к псу. Он же зло сверкнул белками и показал клыки. Это повторилось несколько раз, с какой бы стороны ни подходила ворона. Соблазн, как видимо, был велик, и Кларка стала действовать решительнее. Она выбрала подходящий момент и клювом схватила кость. На этом терпение Басмача кончилось. Он бросился на ворону. Спаслась она благодаря нашему вмешательству.

Ворона тащила что могла и из чужих домов. Как-то я увидел Кларку в чужом дворе. Оказалось, что ее привлекли хранившиеся под навесом баурсаки и курт.

Воровство Кларки не было вызвано голодом. Как я понял, для нее был важен сам процесс — отыскать, стащить, принести и бросить в заветную бочку.

В то время у меня жила еще и галка. У них с вороной на редкость была большая дружба. И днем, и ночью они были неразлучны. Каждое утро, с восходом солнца, как правило, они улетали далеко в горы. Там они встречались со своими дикими родичами, но нашего дома не оставляли. Летними вечерами, когда спадал дневной зной, подруги устраивали над домом воздушные игры. Мы привыкли к мысли, что в полете вороны всегда неуклюжи. Но Кларка, поднявшись в вечернее небо, всегда поражала большим мастерством. Скорость и маневренность у нее во время таких полетов были поразительны. Обычно обе

птицы набирали такую высоту, что становились чуть заметными. И оттуда с отрывистым карканьем ворона пикировала следом за галкой. Едва не коснувшись земли, она легко взмывала вверх, и, преследуя друг друга, они винтом снова уходили ввысь.

Известно, что в отличие от многих других птиц вороны довольно смекалисты и осторожны. Особую осмотрительность они способны проявлять, когда их преследуют. В этом я имел возможность лишний раз убедиться, наблюдая за Кларкой, когда она стала уже взрослой. Отлично зная своих хозяев, доверяя им, в то же время к чужим она относилась с осторожностью, иногда не подпускала даже на выстрел. Своих обидчиков запоминала надолго, облетала их за версту, покровителей приветствовала карканьем. Если она замечала, что посторонний человек обратил на нее внимание, она уже была начеку, и лишнего подозрительного движения постороннего было достаточно, чтобы она тотчас улетела. Двор, в котором в нее однажды запустили камнем, предпочитала облетать стороной. Если Кларка замечала мальчишку-рогаточника, то издавала крик предосторожности, тем самым предупреждая галку.

Недаром говорят: «С кем поведешься, от того и наберешься». Постоянной спутницей в проделках вороны стала галка. Она и поплатилась за проказы. Домой однажды она не вернулась.

После трагической гибели своей спутницы ворона заметно загрустила и на некоторое время перестала летать в чужие дворы. Она словно поняла, чем и для нее могут закончиться эти экскурсии. Теперь большую часть времени проводила возле дома или на склоне горы.

Пошел август. Кларка пряталась в тени, пережидая жару. Чаще всего отдыхала на пороге сеней. Однако стоило нам отлучиться, как дремлющая Кларка незаметно проскальзывала в комнату и устраивалась спать на книжной полке или на стенных часах. Если она остава-

лась долгое время незамеченной, то мне приходилось вооружаться тряпкой и оттирать белые пятна.

Бывая в комнате, она не упускала случая что-нибудь прихватить с собой. Так однажды Кларка унесла авторучку. Я заметил это поздно, кинулся за ней, но где там! Она выскочила на улицу и была такова. Пришлось украдкой, чтобы она не заподозрила, что за ней наблюдают, подглядывать, когда авторучка окажется в одной из кладовых Кларки. На этот раз удалось найти новое место. Кроме ручки, там лежали окурки и давно утерянная блестящая крышка от чайника.

Временное затишье в жизни Кларки снова сменилось интересом к чужим дворам, где за время отсутствия хозяев она наводила свои порядки — ссорилась с курами, преследовала цыплят, пугала голубей. Потом пристрастилась к огородам. Прилетала на грядки ранним утром, откусывала молодые огурцы и бросала их. Жалоб на Кларку прибавилось. Но иногда мне казалось, что Кларка наконец-то начала исправляться. В такие минуты ворона пела, танцевала, вертела головой, дергала крыльями. Все проказы и неприятности забывались, и я с большим интересом наблюдал за ней. Она позволяла погладить себя по спине, хотя даже хорошо прирученные птицы не любят этого. Танцы Кларки сопровождались звуками, которые рождались где-то глубоко в глотке. В это время она постоянно растягивала свое неизменное «ка-ар-ра, кара». Запрокидывала голову, казалось, даже подмигивала мне светлой пленкой — третьим веком, прикрывала глаза и тихим голосом урчала, не раскрывая клюва.

Долгое время я пытался научить ее выговаривать хотя бы ее же кличку, но, увы, кто-то из нас в этом деле оказался совершенно бездарным. И только однажды, в гневе, Кларка отчетливо произнесла, почти выговорила: «Кларра».

Лето было на исходе. Моя Кларка стала чистой, подобранной птицей: темные перья крыльев и хвоста у нее

отливали синевой, а на брюхе и на спине они были дымчатые, почти сизые. Кларка перестала бестолку кричать.

По утрам кружились пушистые туманы, все больше затягивалось солнце осенней дымкой. Могучий инстинкт отлета завладел птицами. Большими и малыми стаями, днем и ночью они тянулись к югу.

Около нашего дома, на горы, садились большие стаи пролетных скворцов, и Кларка не упускала случая потолкаться среди них. В это время она выглядела как многодетная мать с пестрым выводком. Скворцы улетали, а Кларка медленно шла к дому. Она грустила.

Все чаще по ночам выпадал иней. Смешанные вереницы ворон и галок летели тоже к югу. Сородичи Кларки садились на скалы и каркали. Скосив голову, она внимательно вслушивалась, но никогда не подавала ответного голоса.

Времени для нее у меня не оставалось: начались школьные занятия. Однажды, собравшись в горы, я взял ее с собой и выпустил в пяти-семи километрах от города. Но когда вернулся домой, то увидел свою ворону на заборе.

Приближались холода, ее необходимо было уже держать в комнате. И я вновь решил выпустить ее далеко в горах, где-нибудь на виду у стаи ворон. Однако и на этот раз она не полетела к сородичам, а повернула к городу. Но домой не вернулась.

Пришла зима. Проходя мимо тополиной рощи на окраине города, я заметил большую стаю ворон, слетевших кормиться на дорогу. С тайной надеждой встретить среди них Кларку, я стал приближаться к птицам. Завидев меня, стая поднялась и расселась на вершинах тополей, но одна ворона продолжала ходить в поисках корма. Я подошел поближе и позвал:

— Клара! Клара! — и я подошел вплотную.

Нас отделяло не более чем два шага. Я не сомневался теперь, что это была Кларка. Моя Кларка! Улетать она

не собиралась. Я сделал к ней шаг, но на такое же расстояние отскочила и она. Как я ни звал и ни пытался подойти ближе, ворона соблюдала определенную дистанцию: два шага.

За этими двумя шагами скрывалось время, когда Кларка научилась бояться людей, когда она познала настоящую свободу, волю и трудности, связанные с ней.

Еще несколько раз я подзывал ворону. Склонив голову, она пристально смотрела на меня. Но вот Кларка расправила широкие крылья и медленно, по-вороньи, полетела к своей стае.

СЕМКА

Когда мне принесли этого птенца, он был таким беспомощным, что даже большие темные глаза и голубоватый крючок клюва не вызывали мысли о хищнике. Это был пустельжонок — сокол, относящийся к отряду дневных хищников.



Пустельги полезны, ибо в основном питаются насекомыми, мелкими грызунами и ящерицами, лишь изредка их добычей становятся мелкие птицы.

Несмотря на свою беспомощность, птенец, которого я назвал Семкой, с первого дня оказался верен голосу крови и брезгливо отворачивался от пищи, если она не пахла жизнью. Подавай ему мясо или рыбу! Вот и приходилось мне ежедневно ловить кузнечиков или отправляться с удочкой на реку.

Конечно, Семкины родители не промышляют на воле рыбой, но он отлично глотал предлагаемых ему рыбешек. Не страдая отсутствием аппетита, Семка быстро рос и дней через двадцать покрылся рыжеватыми, с темной рябью, перышками, на кончиках которых еще белели султанчики пуха. В этом возрасте птенец уже свободно бегал по комнате на крепких пожелтевших лапках.

Каждый раз, получив пищу, Семка начинал верещать и, отвернувшись, прикрывал ее крыльями, а уж потом расправлялся со своей жертвой.

Проголодавшись, пустельжонок становился назойливым и настойчиво кричал, пока не получал корма. Насытившись, становился благодухным. Ложился где-либо в сторонке и, вытянув лапы и закрыв глаза, засыпал. Спал Семка иногда так крепко, что, взятый на руки, продолжал досматривать свои птичьи сны. Хотя известно, что птицы очень чутки даже во время сна. Семка все-таки был птенец и по-детски был тяжел на подъем.

На плоской крыше избы я соорудил небольшой навес, и с этого времени жаркие летние дни Семка проводил под открытым небом.

Когда приближалось время обеда или ужина, он подбегал к краю крыши и начинал кричать.

Семка узнавал меня не только по виду, но и по голосу. Однажды несколько моих соучеников захотели посмотреть на моего питомца, и мы все подошли к нашей избе. Ребята поочередно стали звать Семку. В это время он находился под навесом и не мог видеть нас. Но Семка как будто и не слышал. Однако стоило мне позвать его, как, на удивление ребят, распутив крылья, с громким криком он поспешил к краю крыши.

Еще полностью не оперившись, Семка уже мог постоять за себя. С нашей кошкой он не вступал в конфликты. Они старались не замечать друг друга. Но однажды чужой котенок, почуяв в когтях у Семки мясо, кинулся на него. Мне пришлось выручать незадачливого забияку:

ключья кошачьей шерсти остались у пустельжонка в лапах и в клюве.

Наша изба находилась на краю города, где сразу начинались предгорья отрогов Ульбинского хребта. Лето было в разгаре, и на их склонах стрекотало великое множество кузнечиков, до которых пустельги большие охотники. Когда Семкин возраст перевалил за месяц, я стал брать его с собой в горы на охоту, чтобы научить его самостоятельно добывать себе пищу: я собирался отпустить его на волю. Отойдя на несколько шагов и поймав кузнечика, я подзывал Семку. Он подбегал, хватал кузнечика и, зажав его в четырехпалом кулачке правой лапки, откусывал у кузнечика головку, затем отрывал лапки и крылья. Делал хищник это, казалось, с особой тщательностью и аккуратностью. Так мы и охотились: пока он разделывался с очередным кузнечиком, я ловил следующего, и Семка вновь спешил ко мне. Обычно мы уходили далеко на гору. Насытившись и изрядно утомившись, Семка взбирался на руку.

Вскоре он научился садиться мне на руку, на плечо или на голову. Но вместе с тем, он не мог смириться, когда к его спине прикасалась рука человека. Он шипел, увертывался и с криком убегал.

Вскоре сформировался его характер — гордый и независимый. Фигурка у него была подтянута, перья лежали одно к одному с правильным симметричным рисунком в сочетании темного и рыжего цветов. Во время отдыха с большим старанием Семка укладывал свои, будто накрахмаленные, перья. Поэтому по виду нельзя было определить, что он был выкормышем. Обычно птицы, бывая в руках у людей, имеют неряшливый и жалкий вид и всегда назойливо требуют корма. О моем Семке этого сказать было нельзя.

Научившись летать, он все больше и больше времени проводил вне дома, и его можно было видеть на столбе или на близлежащих скалах. И только в зной он прилетал

домой. Тогда я наливал ему в таз воды, и он принимался купаться. Вот когда его красивый наряд превращался в серые лохмотья! Но уже через час Семка вновь становился чистым и нарядным. Укладка перьев была любимым занятием соколка. Поэтому он иногда садился ко мне на плечо и пытался привести в порядок мою вихрастую голову. А бабушка, глядя на нас, говорила:

— Вот, может, Семка научит тебя причесываться, поучи его, Сема!

Каждое утро, перед завтраком, Семка обычно выскакивал на улицу, вертел головой, будто добычу отыскивал, подпрыгивал, невысоко взлетал, затем хватал лапами камешки и заглатывал их. Энергии у него было хоть отбавляй, и от избытка ее он срывался с места и, усиленно работая крыльями, взвивался в небо. Сделав несколько больших кругов, камнем падал вниз, садился на ближайший столб, а оттуда — в сени, где и приступал к еде.

Питался Семка чаще дома, но, видимо, из любви к искусству, ловил кузнечиков. Поймав насекомое, Семка долго смотрел по сторонам, явно гордясь своим успехом. Насладившись победой, неспеша съедал добычу, словно смакуя деликатесное блюдо.

Несмотря на свой малый рост Семка, как и вообще соколы, был смел и жаден. Однажды, получив кусок мяса, вылетел с ним на улицу, а через несколько секунд я услышал его воинственный клич и выскочил из дома. Оказывается, соседская овчарка, увидев мясо, словно не заметив его хозяина, схватила кусок. Семка не выпустил мяса и, негодующий и возмущенный, с криком болтался под мордой удирающей собаки. Даже и после того, как я его отбил вместе с мясом у овчарки, он продолжал гневно шипеть.

С чужими Семка не задирался, но панибратства и грубости не терпел; часто тем, кто протягивал к нему руку, оставлял украшение в виде трех кровавых полос от когтей. Как-то моя бабушка, подметая пол, нечаянно



толкнула Семку, и он моментально ответил ей испытанным ударом лапы по руке.

Однажды наш петух небольшими кругами стал ходить вокруг соколка, постепенно приближаясь. Время от времени он косо поглядывал на сидящего Семку. Тот, вертя

головой, с любопытством смотрел на краснобородого великана. Но вдруг петух поднял играющий синими огоньками воротник, подпрыгнул и бросился в атаку на сокола. В одно мгновение Семка из большеголового толстячка превратился в подтянутого хищника и с широко открытыми глазами и клювом контратаковал обидчика. Вцепившись когтями в петушину бороду, повис на ней.

Петух закричал дурным голосом и пустился бежать, увлекая за собой немало перепуганных кур. Семка разжал когти и, описав небольшой круг над бегущим в панике противником, спикировал на одну из куриц. И хотя он был позорно сброшен на землю, моральная победа несомненно была на его стороне. После этого знакомства петуха с маленьким соколком все домашние птицы держались на почтительном расстоянии от смелого хищника с крутым нравом. Теперь стоило только Семке расправить крылья, как куры бросались в разные стороны.

Приближалась осень. Над горами часто появлялись кочующие в поисках корма стайки родичей Семки. Он проявлял к ним заметный интерес. Первая попытка сближения закончилась, однако, для моего воспитанника плачевно: он упал на землю, сбитый кем-то из своих. Вид у него был печальный, обиженный. Но вскоре Семку признали, и он целые дни проводил среди собратьев.

Когда я поднимался в горы и, увидев кружащих пустельг, звал Семку, иногда сразу, а чаще после того как

я хлопал ладонью о землю, он повисал на высоте нескольких метров надо мной и, убедившись, что это я, садился на вытянутую руку. Получив угощение, Семка срывался и без единого взмаха крыльями медленно всплывал ввысь. Часто демонстрируя мастерство своего полета, он внезапно складывал крылья и с высоты стремительно падал ко мне по наклонной. Зрелище великолепное! Между нами была настоящая дружба. Будучи своим в стае собратьев, Семка нуждался и во мне. Прижимаясь к Семкиной пестрой спинке щекой, я ощущал запах вольного ветра. Это было совсем другое, чем держать раненую или пойманную птицу. Я гордился перед мальчишками своим питомцем.

Осенью, когда утрами заискрился иней, насекомоядные птицы неспеша отлетали к югу. В это время у нас весьма многочисленными становятся белые и маскированные трясогузки, коньки и овсянки. Птицы собирались небольшими стаями и кормились на склонах гор. И я отправлялся с Семкой в горы на «соколиную охоту».

Занятые поиском корма, пичуги подпускали нас близко. На пустельгу, сидящую на руке, они не обращали внимания. Страх у птиц перед пернатыми хищниками появлялся в тот момент, когда они видели его расправленные крылья. Заметив зашедшую за камень пичугу, Семка стремительно бросался за ней и пытался внезапно закогтить. Хотя охота наша ни разу не увенчалась успехом, мы не унывали, и Семка вновь занимал исходную позицию на моей руке, будто понимая, что когда он в воздухе, птицы в страхе разлетаются и условия охоты усложняются.

Несколько раз Семка пытался завладеть длиннохвостым сусликом, но и это



ему никак не удавалось. Видимо, сказывалась обеспеченная жизнь, которая не позволила развиваться многим навыкам хищной птицы.

Горы влекли Семку с неудержимой силой. Теперь по утрам, делая гимнастику, он поочередно вытягивал длинные крылья, распускал хвост, как бы вставая на цыпочки. Только после этого он схватывал приготовленное ему мясо и сразу улетал в горы.

Настало время, когда Семка не ночевал дома. А тут еще начались школьные занятия, и мы с ним стали совсем мало уделять друг другу внимания.

В середине сентября на Рудном Алтае пустельги в разлетах, предпринимают кочевки, слетаясь к местам, где обильнее с кормами. К этому времени заканчивается уборка хлебов, открываются поля, и пустельги охотятся на мышей. Как на нитке-неведимке повисают соколки в воздухе или высматривают добычу, сидя на столбах. Вместе с вольными пустельгами улетел и Семка. Я думал, что больше никогда его не увижу. Но через неделю соколок появился дома. Он заметно похудел и одичал. Прошло еще несколько дней, и Семка снова исчез. Пустельги в это время смещались к югу.

Прошла зима. Когда в логах еще белел зернистый снег, а на припеках уже закучерявились ранние всходы травы, пустельги вернулись на родину. Светлый парок струился над отопревшей землей. Горы неудержимо манили к себе. Таким вешним днем я проходил под скалистым утесом, стеной подступившим к берегу Иртыша. И вдруг на земле заметил мелькнувшую тень птицы. Я поднял голову, и сердце мое тревожно застучало. Это был он, мой пернатый друг!

— Семка, Семка! — позвал я. Парящий соколок круто повернул и на высоте трех метров повис надо мной. Я отчетливо видел желтые лапки и большие ясные глаза. Ветер шумел в крыльях, а птица без видимых усилий стояла на одном месте.

Как бы после некоторых раздумий, Семка медленно стал набирать высоту. Я хлопал ладонью о землю, звал. Но сокол тихо проплыл над скалами, над Иртышом.

Что ж, Семка, ты прав. Ты узнал настоящую свободу, и я тебе теперь не нужен.

— Прощай, Семка!

Я помахал ему вслед рукой.

ЖИТЕЛЬ ЛУННЫХ ТУГАЕВ

Леса, в которых в основном произрастают тополь-туранга, облелиха, джида и шингиль и которые тянутся вдоль рек Средней Азии, называют тугаями. Они по большей части окружены пустынями и, как правило, богаты животным миром. Условия для существования здесь находят самые различные звери и птицы. Туранговая роща, отрезанная от сплошных приречных лесов небольшим участком солончаковой пустыни, — недалеко от Нукуса. Здесь прошли мои школьные годы. Ее я посещал очень часто. Меня поражало обилие различных животных. Здесь впервые я познакомился с многочисленными обитателями тугаев Каракалпакии: шакалами, зайцами-песчаниками, фазанами. В пустыне, подступающей к тугаям, живут тонкопалые суслики, ушастые ежи и разные виды тушканчиков. Степных черепах, змей-стрелок, ящериц и крупных, почти со спичечный коробок, жуков-навозников много на окраине города. Но больше всего меня интересовали птицы. Чудесной раскраски фазаны, золотистые и зеленые шурки, сизоворонки приводили меня в неопишуемый восторг. В Рудном Алтае, откуда я приехал, из птиц с яркой окраской, которая могла бы поспорить с тропической расцветкой пернатых Каракалпакии, были только зимородки. Однако самым замечательным из жителей моей рощи были буланые совки. В моем воображении в то время они олицетворяли

прелесть не знакомой мне жизни обитателей тугайного леса. Эти мелкие желтоглазые совы с такими же, как у филина, рожками и пепельно-серой окраской, прекрасно маскируются у туранговых стволов с серой растресканной корой. Обнаружить их в тугаях чрезвычайно трудно.

Не одну неделю пришлось мне провести в тщетных поисках маленьких сов Средней Азии. Как и большинство птиц этого отряда, буланные совки днем прячутся в гуще ветвей, как правило, с теневой стороны, избегая палящих лучей. Отыскать совок, надо сказать, не легко, а если на это рассчитывать, значит, рассчитывать на большую удачу.

К тому же, как я после узнал, эти ночные птицы, завидев человека, подбирают перо, прижимаются спиной к стволу и становятся мало отличимыми от древесной коры. Такая маскировка может служить блестящим примером покровительственной окраски животных. Природа будто нарочно продумала, как лучше сделать это: кора туранги серая, в трещинах, совка тоже серая, по ее перу набросаны серые штрихи. А чтобы птиц не выдавали броские с виду желтые колечки глаз, совки прикрывают их пушистыми веками и смотрят на вас сквозь узенькие щелочки. Иногда замечу, куда села совка, а подойду — ее нет. Другой раз даже досада берет: куда могла деться?

Однажды, когда солнце уже поднялось в зенит, утомленный ходьбой, я присел на поваленный ствол дерева. Птицы в это время, скрываясь от зноя, притихли, и оттого стояла непривычная для тугаев тишина. Отдохнув, я собрался уходить и вдруг оторопел от удивления: с дерева на меня смотрела буланая совка. Ее злое сплюснутое личико походило на дьявольскую рожицу. Вся она будто была из коры туранги. Холодный неподвижный взгляд, казалось, выражал полное презрение, а сощуренные глаза придавали ей крайне надменное выражение.

Прошло еще несколько дней, и рядом с этой совкой появилась другая. С тех пор я их всегда видел вместе на

одких и тех же ветвях, в одних и тех же позах. Было похоже, что они никогда не оставляют своего места. Мои частые посещения и наблюдения ничего не прибавили к моим знаниям. Тогда я решил изменить время наблюдений — день на ночь.

Впервые на ночь в рощу я пришел засветло и недалеко от сидящих птиц сел под дерево, замаскировался ветвями и стал дожидаться темноты. Над тугаями быстро сгустились сумерки, и вскоре стало совсем темно. Утратив очертания, деревья слились в сплошную темную стену. Тугай стал таинственным и неузнаваемым. Тишину время от времени нарушали кем-то испуганные, ночующие на деревьях галки. Из-под прошлогодних листьев с шуршанием и возней выползали многочисленные жуки. Они с трудом взлетали и, ударившись о ветви, громко шлепались на сухую почву. В темноте растворились и совки. Осталось лишь одно — слушать.

Где-то далеко наперебой завывали шакалы. В глубине пустыни, словно причитая, печально кричала авдотка. Голоса большинства куликов звонкие и, как правило, не лишены оттенка грусти. Но мне кажется, что самый печальный голос у авдотки. Он напоминает плач, от которого становится тоскливо и одиноко. И вдруг из отступившей темноты, совсем рядом, глухо застонала первая совка: «Тут-тут-тут». Из глубины рощи ей сразу ответила другая, третья...

Теперь, выбрав среди раскидистых туранг голубоватый клочок неба, смотрю, смотрю на него, как в окно: не промелькнет ли где совка? Здесь их, как знал я, было немало.

В небе засветились большие, словно опущенные синеватыми лучиками звез-



ды. Вскоре на майский небосвод всплыла и королева южных ночей — луна. Поднявшись над потемневшими тугаями, она мягко подожгла кроны туранг. И на их неподвижных широких листьях как на ладошках подрагивал бледный свет. С разных сторон рощи теперь слышались крики совок, вылетевших на охоту. Их голосу нетрудно подражать. Я сложил ладони и, прикрыв ими рот, стал глухо тукать. Вскоре на соседний сук, четко выделяющийся на фоне неба, бесшумно опустилась ночная охотница. Жительница лунных тугаев сидела рядом. Некоторое время она крутила головой, а затем замерла и глухо застонала: «Тут-тут-тут». Со всех сторон ей отвечали другие.

Незаметно прошествовала сказочно неповторимая короткая ночь. В поблекшем небе догорали последние звезды. А когда стало совсем светло, я увидел, что совки, как и прежде, сидели на тех же деревьях, на тех же самых ветвях. Сомкнув бархатные веки, они наострили «рожки» и строго смотрели на меня, словно видели впервые. Нечистая сила да и только!

Шло время. И вот настал день, когда на дереве осталась только одна птица, вторая где-то по соседству заняла дупло. Пришлось заночевать еще раз, чтобы узнать, где загнездовались совки.

Дупло находилось на старой туранге невысоко от земли. Оно было достаточно широким, чтобы увидеть все, что там делается. Вскоре самка снесла три почти круглых белых яйца. Она не оставляла гнезда даже тогда, когда я осторожно запускал под нее руку. Чтобы не беспокоить самку, я решил в течение трех недель не заглядывать в дупло, а ограничиться наблюдениями за самцом. Он сидел на одном и том же месте, и я знал, что все идет благополучно. Наконец прошло три долгожданных недели. В надежде увидеть появившихся птенцов я каждый день навещал дупло. Как я узнал позднее, срок насиживания у буланных совок более трех недель. Поэтому и слу-

чилось как раз то, чего я больше всего боялся. Самка оставила гнездо. Исчез и самец.

Одно из оставленных яиц уже проклюнулось. На блестящей скорлупе вздулся крошечный бугорок, от которого разбегались тонкие паутинки-трещинки. Спустя несколько часов на свет появился бы первый птенец. Очень сожалея о случившемся, я взял яйца совки и, согревая их в ладонях, быстро пошел в тугай, что росли на берегу Амударьи, в надежде найти гнездо какой-нибудь птицы, чтобы подложить их на кукушачий манер. Но поиски оказались напрасными. Снова иду в знакомую мне рощу.

Стоял полдень. Пустыня раскалилась до предела. Нечем было дышать. Пот заливал глаза. От перегретого воздуха над песками дрожало марево, и казалось, что тугай сплошь затопила вода, над которой видны только макушки деревьев. Все живое попряталось, и лишь ящерицы-агамы, шумя сухой кожей, внезапно выскакивали из-под кустов тамариска и стремительно удирали куда-нибудь в спасительную тень.

Время от времени я подносил к уху проклюнувшееся яйцо. Было слышно, что птенец тихо постукивал о скорлупу и верещал. Тепла, которое он получал от рук, по видимому, было недостаточно, и ему было холодно. Я шел и без конца ругал себя, что по моей вине гнездо оказалось оставленным птицами.

И вдруг удача: из старой дуплистой туранги, стоявшей на краю тугайной рощи, неожиданно выпорхнула сизоворонка. В ближайшей развилке дерева обнаруживаю дупло с пятью почти такими же белыми, как у совки, яйцами. К ним я и подложил свою ношу. Ощущение было такое, что гора с плеч свалилась. Отойдя на почтительное расстояние, я подождал, пока сизоворонка залетит в дупло.

На завтра, чуть свет, я был уже в роще. В дупле копошился крохотный, одетый белым пухом птенчик. Его я и

взял. С одной стороны я был счастлив, что у меня в ладонях лежит птенчик, но с другой — не покидало чувство большой вины перед совками. С тех пор я дал себе слово без нужды не беспокоить насидживающих яйца птиц.

Внешность птенца была несколько необычной: его словно перетянули пополам тугой ниткой: одна половина — туловище, другая — голова. Она была большая и, пожалуй, по размерам не уступала туловищу. Крючковатый клюв и узкие прорези глаз. Когтистые лапки были одеты в белые гамашки. Птенец постоянно нуждался в корме. Беспокоило и другое: сумею ли я накормить малыша? Однако он без лишних церемоний схватил предложенного мною маленького кузнечика и с жадностью проглотил его. Насытившись, он тут же заснул. Я не стал ему мешать.

Сверху голова моего птенца, как это свойственно всем совам, была приплюснутой, и каждый раз, засыпая, он подворачивал ее под себя. Наверное, так ему было удобно спать. Получалось, что спал он на голове — не правда ли, явление редкое? Надо сказать, что первое время внешность у него была далеко не привлекательной. Он имел весьма уродливый вид. К тому же, соенок много спал, а просыпался только для того, чтобы поесть. Каждый раз, проголодавшись, он поднимал голову, покачивающуюся на тоненькой шейке, слегка приоткрывал заспанные глаза и тихо-тихо верещал. Рос птенец быстро, и уже через несколько дней тело его покрылось колышками будущих перьев, глаза стали заметно круглеть и увеличиваться в размере. Под клювом, похожим на запятую, выросла пушистая как одуванчик борода. Поэтому, не задумываясь, я назвал его Бородачом. Прошла еще неделя, и бесцветные глаза малыша налились зеленоватым цветом, отчего походили на две виноградинки. Бородач нормально развивался и вскоре стал проявлять интерес ко всему, что его окружало: самостоятельно

покидал коробку, в которой жил, и, то и дело падая, неуклюже ковылял в какой-нибудь из углов комнаты. Верный крови диких родичей, он стремился избегать яркого света и обычно отсиживался где-нибудь в темноте — под кроватью или диваном. Как это делают почти все совы, Бородач раскачивал бородой, когда что-либо разглядывал. Очень забавно было наблюдать экскурсии совенка по комнате. Прежде чем двинуться в дорогу, он вставал на лапки, как можно сильнее вытягивал вперед шею, приподнимал крылья-коротышки и с великим страхом делал первые шаги. Но задняя часть его туловища неизменно перетягивала, и он падал. Неудачи не останавливали птенца. Он настойчиво стремился вперед. Теряя равновесие, как можно шире расставляя лапы, махая крылышками и дергая хвостиком, пушистым и белым как у зайчонка, он обязательно достигал цели. Иногда от негодования Бородач принимался щелкать клювом, шипеть, но, подстрекаемый неугасимым желанием путешествовать, он снова ковылял по комнате.

Поведение совенка во многом было загадочным. Так, например, разглядывая какое-либо пятнышко, он вдруг, ни с того ни с сего, принимался раскачиваться, переступал с ноги на ногу, делая умопомрачительные движения головой — по кругу, вверх и вниз. Как только выдерживала тоненькая шейка! После такого рода телодвижений, непонятно почему, он тарашил глаза, испуганно моргал, и, спешно отступая, ожесточенно щелкал клювом. Вид его говорил о том, что он страшно напуган. Чем? Это оставалось тайной. Вообще поведение сов делает их в глазах человека не только по-своему привлекательными, но и в какой-то степени загадочными птицами, а порой — трогательными. Последнее бывает, когда птица пристально смотрит или кокетливо поглядывает в ваши глаза, словно желая о чем-то спросить.

Вопреки правилам, по которым буланные совки живут на воле, получая пищу в ночное время, малыш полностью

переключился на дневной образ жизни, а ночью, как и всякая другая дневная птица, он спал.

Бородач, можно сказать, менялся с каждым днем. Глаза его набирали цвет луны. На голове обозначились и темные полукольца, словно бакенбарды, обрамляющие лицо. О како по-прежнему я ни разу не видел у него «рожек». По неопытности решил, что они бывают только у взрослых птиц.

Не зря говорят, что всему свое время. Так случилось и на этот раз: стояла теплая лунная ночь. Над арыками чуть слышно перешептывались карагачи. Как можно тише я подошел к окну флигеля, где на широком подоконнике спал соенок. Но что это? Вместо лохматого неряшливого птенца, я увидел облитую лунным светом хрупкую статуэтку. Глаза прищурены, а на голове топорщатся пушистые беловатые пучки перьев — рожки. Словно это был не мой соенок, а маленький волшебник — царь гномов, с причудливой короной на голове. Как зачарованный смотрел я на преобразившегося птенца. Он же, напротив, не проявил ни малейшего чувства радости: не раскачивался в приветствии и, как обычно, не подавал голоса. Было похоже, что он и видит-то меня впервые. И, как это делали его дикие родственники, Бородач с холодным презрением смотрел на меня. Освещенный лунным светом, он выглядел неземным, словно сам был выточен из крошечного осколка ночного светила.

Я позвал:

— Бородач!

Но он оставался по-прежнему неподвижным, словно загнипнотизированный чудесной лунной ночью.

Как только Бородач научился летать, под потолком для него я подвесил причудливый сук. Отсюда он наблюдал за всеми, кто находился в комнате, и поэтому отлично знал своих. Если приходил кто-нибудь из посторонних, он мгновенно преображался: из круглого симпатичного

совенка становился тоненьким с печально вытянутым личиком и часами не спуская глаз с пришельца словно гипнотизер.

Известно, что совы привыкают к человеку с большим трудом и, как правило, их трудно чему-либо обучить. Однако мой питомец хорошо знал свою кличку. Чтобы лишний раз убедиться в этом, мы специально устраивали для него своего рода экзамен. Кто-нибудь из домашних монотонно, но членораздельно, произносил одно за другим разные слова. Бородач не реагировал на это совершенно, но стоило назвать его кличку, как Бородач сейчас же открывал глаза, начинал раскачиваться и подавать голос.

Буланые совки в основном насекомоядные птицы, но промышляют и мелкими грызунами. Видно, поэтому самым лакомым угощением для Бородача были крупные насекомые, но предпочтение он всегда отдавал саранчукам. Как только замечал их, широко открывал глаза и, как бы нацеливаясь, начинал крутить головой, а затем в стремительном броске настигал выбранную жертву. Расчет глазастого охотника был точным. Редко случалось, чтобы он промахнулся.

Глаза у сов неподвижны, и поэтому, чтобы получить нужное представление о каком-либо предмете, который они рассматривают, совы вынуждены вращать головой, то есть оглядывают его. Оптическая сила глаз у сородичей Бородача очень большая, в связи с чем на близком расстоянии совы видят очень плохо: изображение получается расплывчатым, и птицы вынуждены отступить от предмета, чтобы его хорошо рассмотреть. Многие совы, в том числе и буланые совки, не видят даже своих лап, вернее видят их, но нечетко. В пору и загадку загадать: какая птица собственных лап не видит?

Со временем Бородач повзрослел, заметно изменился характер его поведения. Вечерами, ловко лавируя среди домашней утвари, он бесшумно летал по квартире. Бывало, над самой головой пролетит, обдаст всколыхнувшимся

воздухом, а шума не слышно. Бесшумный полет — одна из замечательных особенностей ночной птицы.

Жизнь в неволе сделала свое дело. Никогда не видя себе подобных, соенок не знал, как выглядит сам, и был страшно напуган, когда увидел свое отражение в зеркале. Со страху он взъерошил перья и показался сам себе раза в три больше обычного. Расставив лапы, растопырив крылья, начал раскачиваться, гневно шипеть и щелкать клювом. Потом поспешно отступил от зеркала. Теперь он старался избегать его, чтобы лишний раз не портить себе настроения.

Как я уже говорил, соенок полностью приспособился к дневному образу жизни. Родные тугаи, хотя и не в полной мере, ему заменяла квартира. Никогда не слыша голоса буланных совок, не зная их и став взрослым, Бородач проявлял повадки и характер ночной птицы. Каждый вечер, как только повисали сумерки, он становился активным. Стремительно летал по комнате и время от времени подавал глухой голосок. Его внимание привлекало только окно, к нему тянуло все его существо как магнитом. Соенок садился на подоконник, всматривался в потемневший сад, вслушивался в ночные шорохи, облетал комнату — и снова к окну, приоткрывшее ему мир родной стихии. В эти минуты Бородач не отвечал на зов и даже отказывался от корма.

Мне жаль было видеть его тоскующим. С другой стороны — мне не хотелось расставаться с ним, и я твердо решил увезти Бородача с собой в Восточный Казахстан.

Настал день отъезда. Для своего питомца я сколотил фанерный ящичек, верх которого затянул марлей. Последнее важно, так как любопытство посторонних утомляет и раздражает животных.

Стал вопрос, чем же кормить его в дороге? Хотя соенок и маленький, но он хищник, и ему необходимо мясо или кузнечики. А где их взять в дороге? Но выход был найден — подсушенное на солнце мясо за десять-пятна-

дцать минут до еды опускалось в воду — и пища готова. Конечно, сушеное мясо далеко не то, что свежее, но что делать?

Наш грузовик мчался по пыльной дороге от Нукуса к железнодорожному вокзалу. С телеграфных столбов, пугаясь автомашин, срывались сизоворонки и, играя голубыми крыльями, уходили в знойную даль. Я мысленно прощался с полюбившейся природой приаральских пустынь и зелеными лентами тугаев.

Нам не повезло. Поезд только что отошел от станции, а следующий приходит через двое суток. Торопиться было некуда, и первым делом я решил накормить совенка. Вокзал стоял на пустыре, и прямо у крыльца прыгали и стрекотали целые полчища кузнечиков. Здесь мы были единственными пассажирами, поэтому я выпустил Бородача прямо в зале ожидания. Он быстро освоился, облюбовал себе место на карнизе у двери, и, как только я приносил кузнечиков, немедля слетал как дома, принимаясь ловить их.

На следующий день из всех соседних аулов на осликах и верблюдах стали съезжаться пассажиры. Днем, как обычно, стояла нестерпимая жара, с пустыни налетал горячий ветер, и все они укрывались от зноя в зале ожидания.

Местные жители чаще всего к совам относились крайне недоброжелательно, считая их предвестниками всевозможных несчастий. Они преследовали этих птиц не только отгоняя от своих жилищ, но и при возможности уничтожая. Еще раньше я неоднократно был свидетелем, как жители небольшого каракалпакского села Караузьяк, обнаружив в постройках и дувалах домовых сычей, тут же забивали их ниши глиной, замуровывая птиц заживо. И мои будущие спутники с нескрываемой неприязнью смотрели на совенка, а некоторые, чтобы подчеркнуть свое презрение, отворачивались и брезгливо сплевывали. На меня же смотрели как на ненормального и спрашива-

ли, как, мол, не противно возиться с жаман кус — плохой птицей?

Но вот я возвращаюсь с очередной охоты с полной горстью кузнечиков и вижу, что пассажиры дружно смеются и все смотрят на совенка. Бородач сидит под дверью с папиросным окурком в клюве. Затем он берет его в лапу, поворачивает так, словно курит и, прищулив глаза, рассматривает пассажиров.

— Бородач ученый, да? Хороший Бородач! — Они дружно смеются, показывая в улыбке крепкие белые зубы.

Будто позируя, Бородач защебил клювом папиросу и с наигранным презрением захмелевшего ресторанныго обывателя смотрит на развеселившихся каракалпаков. После этого отношение пассажиров к совенку и, конечно, в какой-то мере ко мне изменилось в лучшую сторону.

До Ташкента мы доехали без приключений. Однако трое суток утомительной вагонной жизни особенно трудными оказались для совенка. Ведь он был непривычен подолгу отсиживаться в тесной клетке и постоянно пытался вырваться. И вот на ташкентском вокзале случилось совершенно непредвиденное. Незадолго до отправления поезда Бородач выбрался из своего заточения, взлетел на первую попавшуюся люстру, висевшую под высоченным куполом вокзала. Испугавшись шума и возни сотен людей, совенок мгновенно «замаскировался» — вытянулся столбиком и наострил рожки. Все, кто был в зале, подняв головы, рассматривали странную птицу. Стараясь перекричать толпу, я звал Бородача как только мог, показывая ему мясо, предлагая сесть на руку. Но где там! Совенку было нелегко, даже, наверное, невозможно увидеть и услышать меня.

На поезд объявили посадку. Я пришел в отчаяние. А тут еще любопытные. Они улюлюкали, хлопали в ладоши, подсвистывали, подбрасывали кепи и тюбетейки. Теперь уж все смотрели и показывали на люстру. Некоторые спрашивали:

— А что это там такое?

— Да это же летучая мышь. Это она на свет залетела.

— Это ваша? А где вы ее взяли? А зачем она вам?

Вопросы и советы сыпались лавиной.

— Граждане пассажиры!.. До отправления поезда остается пять минут...

Сесть в вагон, значило расстаться с Бородачом. И я твердо решил, лучше отстать от поезда, чем оставить совенка. В последние миунты до отправления поезда мне на помощь пришли работники вокзала. Они подкатили к люстре монтажную лестницу. Я быстро вскарабкался по ней и, схватив своего питомца и даже толком не поблагодарив за оказанную мне помощь, выбежал на перрон и заскочил в первый попавшийся вагон.

Ночью, на одной из остановок меня растолкали. В купе слышался детский плач, зло басил мужской голос: «Ты что это своих зверей распустил? А ну-ка спрячь, не то я в окно его!..»

Оказывается, Бородач сидел поверх коробки и забавно моргал выразительными глазами, крутил головой, не без любопытства рассматривая пассажиров. На шум пришел проводник. В купе стало совсем тесно.

— Да он же безобидный. Разве не видите? Ничего плохого он не мог сделать вашей девочке, — оправдывался я.

— Безобидный, говоришь? — возмутился злющий отец семейства. — Оно и видно, что безобидный. Вон какие шары-то у него! Того и гляди в глаза вцепится...

Как я узнал после, произошло следующее. На какой-то станции родители оставили свою девочку в нашем купе и вернулись на перрон за вещами. Малышка увидела коробку и из любопытства открыла ее. В тот же момент показалась голова Бородача. Девочка, конечно, не ожидала этого и громко заплакала.

Проводник стал требовать справку о разрешении на провоз совенка. У меня ее не было. «Тогда с вас, молодой человек, полагается за провоз. Или будьте добры освободи-

дить вагон». Дела мои были плохи. Но неожиданно обстановка разрядилась в нашу пользу: девочка громко засмеялась и, размазывая по щекам крупные слезы, стала дергать за руку женщину:

— Мама! Ну, мама, посмотри!

Бородач крутил головой, раскачивался, приплясывал на своей коробке и заглядывал в глаза собравшихся людей. Затем начал подскакивать и что есть силы махать крыльями, щелкать клювом. Улыбки скользили по лицам взрослых. Проводник сказал: «Ладно, без билета проведу твоего зверя. Забавный, чертенок!»

О том, что со мной едет симпатичный совенок, теперь знали все соседи по вагону. Утомленные длительной дорогой и однообразием вагонной жизни, они приходили и спрашивали, скоро ли я буду кормить своего питомца.

Выпущенный из коробки, Бородач с чувством радости начинал резвиться, демонстрируя все, на что был способен. Он взлетал, хватал лапами все, что попадало на глаза. С удовольствием разделялся с принесенными ему кузнечиками, которых приносили пассажиры. Теперь на остановках, если позволяли условия, мужчины и мальчишки ходили на промысел кузнечиков, чтобы покормить совенка из собственных рук.

Жаркое лето Каракалпакии и все дорожные недоразумения остались позади. Мы доехали благополучно. Наступил сентябрь. С деревьев полетели разноцветные листья, устилая промерзшую землю. Птицы потянулись к югу. Но Бородач, хотя и был уроженцем юга, чувствовал себя отлично и даже пристрастился к купанию. Каждый раз, увидев чашку с водой, без приглашения он садился на край, сначала осторожно смачивал голову, затем ставил ноги в воду, а потом уж принимался азартно нырять с головой.

От удовольствия он хлопал крыльями, глаза его столбенели — он смотрел куда-то в пространство и часто-часто постукивал клювом. Надо думать, что буланые совки

на воле редко купаются или вовсе не купаются, но Бородач оказался водолюбом: бултыхался до тех пор, пока не терял способность к полету. Купаясь, он широко расставлял лапы, выскакивал из своей ванны и кругами, хлопая крыльями, бегал вокруг нее. Затем с разбега плюхался в воду, разбрасывая веер брызг, окунался с головой. В такие минуты он терял внешнюю привлекательность и, по правде сказать, становился похожим на огородное пугало. Его оперенные лапки становились тонкими и до уродливости кривыми. Вместо широких, плотно пригнанных друг к другу перьев мягкого полукруглого хвоста свисали мокрые прядки. И тело покрывалось влажными лохмотьями из перьев. Словом, Бородач теперь выглядел далеко не красавцем. По-прежнему красивыми оставались только глаза. Но увлеченный купанием Бородач, конечно, не смущался собственным видом и, как ребенок, продолжал с восторгом барахтаться в воде. Купание прекращал только тогда, когда его начинал бить озноб. Трясущийся, он взбирался куда-нибудь повыше и сушил перо, слегка расставив крылья.

С наступлением осени он вдруг начал проявлять беспокойство, все ночи напролет летал по комнате, постоянно издавая тихий грудной посвист. В это время он заметно одичал. В моем питомце заговорил голос предков. Буланые совки, живущие на воле, устремились на юг, к дальним зимовкам. Хотя Бородач никогда не знал воли, но естественное стремление к перелету, выработанное тысячами, передалось и ему. Я стал задумываться: не пора ли отпустить совенка? Однако надо было учесть, что он находился далеко от тех мест, откуда его дикие родичи совершают свои сезонные перелеты. Значит, наступившие сентябрьские заморозки могли погубить его. Напрашивались мысли и о его непригодности самостоятельно прокормиться. Так что решено было оставить Бородача на зиму.

Через несколько дней пролет у буланых совок закон-

чился, и Бородач, как и прежде, стал игривым и ласковым. Он раскачивался, переступая с лапы на лапу, рассматривал что-либо, азартно купался, а по утрам садился на головку кровати и требовал корма.

Наступила зима. Начались сильные морозы. Потянулись длинные ночи. Поглядывал на землю рогатый месяц, словно впаянный в студеное небо. Слабый лунный свет едва пробивался сквозь причудливые росписи изморози, залившей окна. А вот и соенок. Он сел на подоконник. Бородач подает тихий голос, и в моей памяти вновь непроизвольно встают теплые южные ночи, проведенные в Каракалпакии. Вспомнились буланные совки, как тени мелькающие в лунных тугаях.

ГВИДОН

Перекинув через плечо ремень отцовской одностволки, Колька вышел на улицу. Следом пушистым облаком выкатился теплый воздух, поднялся и бесследно растаял в просветлевшем морозном небе. Колька сунул валенки под широкое сыромятное кольцо охотничьих лыж, подбитых камысом, и привычно заскользил в укутанный синеватыми сумерками заснеженный лес. Он перешел бревенчатый мост, перекинутый через строптивую, дышащую холодным паром речку, и оглянулся. Одинокий рубленый домик лесного кордона, окруженный большими сугробами, стоял у самой дороги. Два окна, залитых оранжевым светом, весело смотрели на лесную дорогу. Издали домик напоминал разыгравшегося котенка с пушистым хвостом, выглядывающего из-за горбатых сугробов.

Колька, сын лесника, все раннее детство провел в этом самом одиноком домике, среди леса, у самой речки с названием Колотушка. Он хорошо знал лес, любил и берег его как отец. А сейчас он приехал домой из интерната на зимние каникулы.

Идти было легко и привычно. Под лыжами сухо шеле-

стел снег, на глаза то и дело попадались серебристые вязи звериных следов. Колька перешел через увал и вскоре оказался в тесном лесистом ущелье, которое здесь называли Глухим.

Кругом было тихо, где-то под снегом бормотал ручей. Местами, пробиваясь сквозь снежный плен, в образовавшиеся отдушины он выдыхал холодные пары. Влага оседала на ветках калины и тальника, одевая их в пушистую изморозь, вспыхивающую холодными искрами. В густых еловых кронах с мышинным писком копошились крошечные корольки и синицы-московки. На рядом стоящую березу опустились снегири. Краснобрюхие, раздутые от мороза, они тихо переговаривались и черными, словно лакированными клювами потрошили смерзшиеся сережки. Замельтешили чешуйки, и снег под березой запестрел как от веснушек.

Вдруг Колька услышал отрывистый храп. Похоже было, что где-то недалеко стояла лошадь. Но откуда ей здесь взяться? Это насторожило мальчика. Внимательно осмотрев ельник, он вслушался, но кроме говора ручья, ничего не услышал. Наверное показалось.

Уже собираясь идти, Колька вновь услышал храп. Немало разных голосов и звуков леса были ему знакомы, но подобного не приходилось слышать. Кто же это? Уж не медведь ли шатун? От этой мысли стало не по себе. Оглядываясь, медленно и настороженно Колька пошел вверх по ручью. В мелком ивняке, столпившемся подле отдушины, мальчик заметил крупного зверя. Зверь лежал. Огромная голова с широкими кустистыми рогами была направлена в сторону Кольки. И он успел заметить большие темные глаза, пристально смотревшие на него.

«Лось?»

Оробевший Колька на всякий случай подошел к сучковатой ели и, сбросив лыжи, решил про себя, если что — так сразу на дерево. Несколько минут мальчик и зверь внимательно глядели друг на друга. Лось не вставал и не

отводил внимательных глаз. Осмелев, Колька тихо свистнул, а потом крикнул. Медленно, словно нехотя, с трудом разгибая передние ноги, зверь приподнял переднюю часть туловища. Но силы изменили ему, и он стал медленно оседать в обледеневшее снежное ложе.

— Да он никак ранен?

Преодолевая страх, Колька сделал несколько шагов в сторону лося. Постоял и снова подошел ближе. Только сейчас Колька заметил, что зверь страшно худой, под густой шерстью у него выпирали ребра и заострившиеся лопатки. Но странное дело — вокруг лося ни единого следа. Как же так?

И тут осенила догадка — лось залег здесь еще до того, как прошел последний буран. Это значило, что он лежит уже больше недели. Больше недели он ничего не ел. От жалости у Кольки сжалось сердце. Он достал из кармана куртки смерзшийся кусок хлеба и бросил его зверю. Но тот все так же пристально смотрел в глаза мальчика, словно пытаясь понять, чего же от него хочет этот маленький человек. Может быть и он поразит его громом и молнией. Но маленький человек нагнулся, взял хлеб и прямо с рук стал угощать. Заиндевевшие губы лося дрогнули, из ноздрей вылетело два шлейфа пара. Мягкие губы коснулись колькиной руки, но есть хлеба он не стал.

«Да что же это я не вспомнил раньше — лоси же вообще не едят хлеба!»

Увязая по пояс в снегу, ломая на ходу мерзлый кустарник, Колька шел вдоль ручья. Промороженные ветки отскакивали как сосульки, и вскоре он набрал их целую охапку.

Лось не заставлял себя приглашать. На его мощных зубах ветки скрипели и хрустели как свежая морковка, а Колька смотрел и боялся дыхнуть. Сейчас он был самым счастливым человеком. Тепло, наполнившее доброе мальчишеское сердце, не знало границ. Еще бы, прямо с его рук брал угощение настоящий дикий лось! Кому из мальчи-

шек, колькиных друзей, приходилось вот так близко быть с лосем, да еще и кормить его из собственных рук?

Больше всего поражали могучие рога. Широкие и ветвистые, они походили на большую корону.

«Настоящий лесной царь, — подумал Колька. — Конечно, царь! Царь Гвидон! И вправду, Гвидон!»

Гвидон, хрумящая стелыми ветками, фырчал, выпуская прямо на Кольку клубы теплого пара. Колька пощупал рога, крепкие и как камень холодные. Вдруг он заметил, что одна из лопастей пробита пулей и в ней зияло круглое отверстие.

— В тебя стреляли, бедный Гвидон!

Мальчик испытывал стыд за людей, поднявших на лося руку. Он представил, как раненый Гвидон дошел до ручья, разгоряченный, истекающий кровью, он жадно припал к воде и здесь же слег, а потом подняться не хватило сил. Колька хотя и не видел раны, но знал: если такой могучий зверь, как лось, слег и не может встать, чтобы поесть, значит, она серьезная.

Короткий январский день клонился к вечеру. Нужно было возвращаться домой. Перед тем как уйти, Колька принес еще охапку хвороста и прикладом ружья разбил заледеневшие края отдушины. Теперь, не вставая, лось мог дотянуться до воды.

На кордон Колька вернулся, когда в вечернем небе тускло мерцали холодные и подслеповатые, похожие на мышинные глазки, звезды.

Дома весь вечер Колька рассказывал о лосе. О том, что назвал его Гвидоном, и еще поделился с отцом мечтой — выходить Гвидона.

— Очень хорошо, что лоси вновь пришли в наши алтайские леса, — говорил отец.

Колька узнал, что лоси раньше жили здесь, но были истреблены человеком. А теперь, охраняемые законом, они стали вновь возвращаться в леса, где когда-то бродили их предки.

На следующее утро, чуть свет, Колька спешил в Глухое ущелье с охапкой сена, скрученной проволокой. Лось лежал на том же месте. Когда Колька подошел ближе, зверь громко фыркнул. «Наверное, меня приветствует», — решил Колька. И отдал сено.

Прошло еще несколько дней. Каждый вечер, усталый, но счастливый, Колька возвращался домой. С нетерпением он ожидал следующее утро и новой встречи со своим лесным другом.

Однажды Колька проснулся от стука хлопающих ставней. Дико и протяжно завывал в трубе ветер. Снежные комья белыми птицами ударились в оконные стекла. Гудел и стонал лес.

Лишь на следующий день к вечеру вьюга ушла к вершинам гор. На очистившееся небо, усыпанное большими яркими звездами, выкатилась луна. Горы и лес окутала светлая дымка. Под подолами елей, у сугробов, стелились темно-синие тени. Но что это? Колька напряг слух. За соседним увалом раздался протяжный леденящий душу вой.

«Волки! Конечно, волки!»

Колька забежал в дом, схватил ружье и, падая и задыхаясь, побежал на увал. Несколько раз подряд выстрелил в воздух.

В эту ночь ему снился один и тот же сон: у ручья в Глухом ущелье стоял Гвидон с гордо поднятой головой, а на него со всех сторон нападали волки.

— Колька, сынок, вставай! — Рядом, улыбаясь, стоял отец. — Солнце уже поднялось. Иди попроведай своего Гвидона Гвидоныча. Я гостинец приготовил — сено. Пусть скорее поправляется и в гости к нам жалует. Давно бы сам сходил к нему, да ноги, эти проклятые ходули, не слушаются меня. Тьфу ты!

«Жив ли?» — думал Колька, пробираясь сугробами в Глухое ущелье. Снегу было столько, что от кустов, стоя-

щих у ручья, только макушки видны. В сугробе виднелась голова Гвидона. От набившегося снега, голова и шерсть были белыми — не узнать. Но Гвидон уже давно заметил Кольку и ждал его, как и раньше, высоко подняв увенчанную рогами голову.

— Гвидон, Гвидон!

И чудо! Гвидон тряхнул головой, фыркнул и стал медленно вставать, высвобождая из снежного плена огромное темное тело. Покачиваясь от слабости и оставляя глубокий след на снегу, он медленно шел навстречу Кольке.

Это был последний день недолгой дружбы мальчика и лесного великана. Школьные каникулы заканчивались, и Кольке пришлось время ехать в город, в школу.

Колька обхватил голову лося, прижался щекой к мягким, пахнущим горьковатой осиновой корой губам, гладил его худые, ребристые бока.

— Тебе, Гвидон, подальше бы в лес, а мне в школу пора.

Гвидон, словно понимая, что они расстаются, ни на шаг не отставал от Кольки. Метровыми шагами, глубоко проваливаясь в рыхлый снег, он следовал за своим маленьким другом. В который раз Колька был вынужден возвращаться в ущелье, увлекая за собой Гвидона. И наконец Гвидон остановился, словно поняв, что мальчику пора уходить. Зверь пристально смотрел на уходящего Кольку.

А Колька и не думал расставаться с лосем. Как только вернулся домой, взял лист бумаги и кисточку. Не долго Колька колдовал акварелью. Первый, второй, третий мазки — и Гвидон, его лось, уже стоял на снегу, искрящемся от яркого солнца. Чуть-чуть наклонив голову набок, касаясь ветвистыми рогами ствола могучего дерева, он смотрел своими бархатными, по-человечески добрыми глазами. И мальчишке вдруг показалось, что вот-вот лось качнет головой, сойдет с холста, подойдет к нему и скажет: «Как

хорошо, что я тебя встретил. Теперь мы будем всегда вместе».

Колька сложил ладони рупором и как тогда, в лесу, радостно и громко-громко закричал:

— Здравствуй, Гвидон!



СОДЕРЖАНИЕ

Кулуджунские звезды	3
Пень	6
Подруги	7
Белоснежный троллиус	8
✓ Осень в лесу	—
✓ Красное, желтое...	10
Букет	11
Зимняя сказка	12
Свиристели	14
В царстве снежной королевы	16
«Я здесь, а вы?»	18
✓ Лужица	20
✓ Шмель	21
✓ Кто разбудил тишину	22
Оляпкии дом	—
Дрозд и меланцет	24
Любопытный	—
Кларка	27
Семка	34
Житель лунных тугаев	41
Гвидон	56

Борис Васильевич Щербаков
ЖИТЕЛЬ ЛУННЫХ ТУГАЕВ

Редактор *Е. А. Купрева.*

Художники *Ю. Юрьев* и *А. Синявский.* Худож. редактор *М. Шалбаев.*
Техн. редактор *Ж. Момунов.* Корректоры *Р. Бусакова* и *Н. Григорьева.*

Сдано в набор 21/VII 1976 г. Подписано к печати 23/IX 1976 г.
Формат $70 \times 108 \frac{1}{32} - 2,0 = 2,8$ усл. п. л. (2,75 уч.-изд. л.).
У1С 140. Тираж 50 000 экз. Бумага тип. № 1. Цена 10 коп.
Издательство «Жалын», г. Алма-Ата, ул. Гоголя, 111-2.

Заказ № 1285. Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, пр. Гагарина, 93.

10 к.

